Алекс Капю

Леон и Луиза

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Это роман о настоящей любви, сильной, не поддающейся никаким водоворотам судьбы, неподражаемая эпопея о частной жизни и истории страны.

Лето 1918 года. Первая мировая подходит к концу, когда в небольшом французском городке Леон знакомится с юной Луизой и влюбляется в нее. Их красивый роман мог перерасти в долгую счастливую жизнь, но судьба распорядилась иначе: влюбленные попадают под немецкий артобстрел и долгое время считают друг друга погибшими.

Через два десятилетия они случайно встречаются в Париже. Однако судьба вновь разлучает их: немецкое вторжение во Францию (это уже Вторая мировая война), а главное – отказ Луизы разрушить брак Леона приводят к очередному расставанию героев романа. В оккупированном Париже во время войны Леон борется против отвратительных задач, навязанных ему СС. А Луиза, сотрудница банка, отправленная в Африку с национальным золотым запасом, противостоит окружающим ее трудностям.

При всех тяготах жизни герои никогда не забывают о своей любви.

- Алекс Капю
  - ГЛАВА 1
  - ГЛАВА 2
  - ГЛАВА 3
  - ГЛАВА 4
  - ГЛАВА 5
  - ГЛАВА 6
  - ГЛАВА 7
  - ГЛАВА 8
  - ГЛАВА 9
  - ГЛАВА 10
  - ГЛАВА 11
  - ГЛАВА 12
  - ГЛАВА 13
  - ГЛАВА 14
  - ГЛАВА 15
  - ГЛАВА 16
  - ГЛАВА 17
  - ГЛАВА 18
  - ГЛАВА 19

- ГЛАВА 20
- notes
  - 1
  - 2

Алекс Капю
Леон и Луиза

ГЛАВА 1

Мы сидели в Соборе Парижской Богоматери и ждали священника. Разноцветный солнечный свет падал через розетки витражей на открытый, украшенный цветами гроб, стоящий на красном ковре перед алтарём. На хорах перед пьетой стоял на коленях монах-капуцин, в левом нефе на лесах работал штукатур, скребущие звуки его мастерка отдавались в восьмисотлетней кладке стен. В остальном царил покой. Было девять часов утра; туристы ещё завтракали в своих отелях.

Наша группа скорбящих была небольшой: покойный жил долго, и большинство тех, кто его знал, уже скончались раньше. На передней скамье, посередине, сидели четверо его сыновей, дочь и невестки, рядом с ними – двенадцать внуков, шестеро из которых были ещё холосты, четверо женаты, а двое разведены; совсем с краю – четверо из двадцати трёх правнуков, которые на тот день, 16 апреля 1986 года, уже появились на свет. Позади нас терялись в сумеречном свете в сторону выхода пятьдесят восемь пустых рядов – море пустых скамей, на которых хватило бы места всем нашим предкам вплоть до двенадцатого века.

Мы смотрелись смехотворно маленькой кучкой в этой несоразмерно большой для нас церкви; сидели мы здесь из-за последней шутки моего деда, который был химиком-криминалистом на набережной Орфевр[1] и презирал попов. В последние годы он часто возвещал, что если когда-нибудь умрёт, то пусть отпоют его в Соборе Парижской Богоматери. Если на это замечали, что ему – как неверующему – должен быть безразличен выбор божьего храма, а для нашей маленькой семьи церквушка за углом подошла бы гораздо лучше, он возражал:

– Церковь Святого Николая из Шардоне? Вот уж нет, дети, обеспечьте мне Нотр-Дам. Это хотя и дальше, и будет вам чего-то стоить, но вы справитесь. Кстати, я предпочитаю латинское богослужение, а не французское. По старому обряду, пожалуйста, с ладаном, с длинными речитативами и грегорианским хоралом.

И ухмылялся себе в усы, представляя, как его потомки натрут себе колени за два с половиной часа о жёсткие церковные скамейки. Эта шутка так ему понравилась, что он ввёл её в репертуар своих привычных поговорок. «Если я к тому времени не наведаюсь в Нотр-Дам», – говорил он, записываясь к парикмахеру, или: «Светлой Пасхи и до встречи в Соборе Парижской Богоматери!» Со временем шутка превратилась в предсказание, и когда час моего деда действительно пробил, нам всем было ясно, что делать.

И вот он лежал с восковым носом и удивлённо поднятыми бровями на том самом месте, где Наполеон Бонапарт короновался в Императоры французов, а мы сидели на тех самых скамьях, где сто восемьдесят два года назад сидели его братья, сёстры и генералы. Время шло, а священник всё не появлялся. Лучи солнца падали уже не на гроб, а справа от него, на чёрно-белые каменные плиты. Из темноты появился церковный служка, зажёг несколько свечей и вернулся в темноту. Дети ёрзали на лавках, мужчины почёсывали затылки, женщины держали спины прямо. Мой двоюродный брат Николя достал из кармана пальто марионеток и устроил представление для детей, которое, по сути, заключалось в том, что небритый разбойник бил дубинкой по колпачку петрушки.

И тут далеко позади нас, рядом с входным порталом, с тихим скрипом открылась маленькая боковая дверь. Мы оглянулись. В расширяющийся просвет ворвалось тёплое свечение весеннего утра и шум с улицы Сите. Серая фигурка в ярко-красном шарфе проскользнула в церковный неф.

– Кто это?

– Эта женщина из наших?

– Тихо, услышит же!

– Она из нашей семьи?

– А может, это…?

– Ты думаешь?

– Ах, откуда?

– Не её ли ты однажды видел на лестнице…

– Да, но тогда было очень темно.

– Перестаньте пялиться.

– Да где этот священник?

– Кто-нибудь её знает?

– Это…

– …может быть…

– Ты думаешь?

– Да замолчите вы наконец!

Мне было с первого взгляда понятно, что эта женщина не из семьи. Эти маленькие, энергичные шаги и твёрдые каблуки, которые на каменных плитах звучали как аплодисменты; эта чёрная шляпка с вуалью, под ней гордо вскинутый острый подбородок; то, как она проворно перекрестилась перед каменной чашей со святой водой, и этот элегантный книксен – нет, это не могла быть Лё Галль. По крайней мере, урождённая.

Чёрные шляпки и проворные крестные знамения нам не подходят. Мы, Лё Галли, рослые, медлительные люди, норманнского происхождения, которые передвигаются большими,

осторожными шагами, и более того, мы семья мужчин. Конечно, есть у нас и женщины – женщины, которых мы брали в жёны, но когда на свет появляется ребёнок, это по большей части мальчик. У меня у самого четыре сына и ни одной дочери; у моего отца – три сына и одна дочь, его отец – покойный Леон Лё Галль, который этим утром лежал в гробу – также породил четверых сыновей и дочь. У нас сильные руки, широкие лбы и широкие плечи, мы не носим украшений, кроме часов и обручальных колец, имеем склонность к простой одежде без рюш и кокард; вряд ли мы вспомним, закрыв глаза, какого цвета на нас рубашка. У нас никогда не болит ни живот, ни голова, а если такое случается, мы стыдливо помалкиваем об этом, так как в нашем понимании мужества ни наши головы, ни наши животы – особенно животы! – не содержат мягких тканей, восприимчивых к боли.

Прежде всего у нас необыкновенно плоский затылок, над которым всегда посмеивались наши жёны. Когда в семье рождается ребёнок, мы спрашиваем в первую очередь не о весе, росте или цвете волос, а о затылке. « Какой он – плоский? Это настоящий Лё Галль?» И когда мы несём одного из нас к могиле, мы утешаем себя мыслью, что череп Лё Галля при транспортировке не мотается из стороны в сторону, а неподвижно лежит на дне гроба.

Я разделяю хилый юмор и радостную меланхолию моих братьев, отцов и дедов, и я – настоящий Лё Галль. Хотя некоторые из нас имеют слабость к табаку и алкоголю, у нас есть хорошие виды на долгожительство, и, как многие семьи, мы твёрдо уверены в том, что мы хоть и не особенные, но всё-таки единственные в своём роде.

Эту иллюзию нечем подкрепить, она лишена всяких оснований, так как ещё никогда, насколько мне известно, Лё Галль не совершал нечто такое, о чём человечество должно помнить. Это объясняется, во-первых, отсутствием выраженных способностей, во-вторых, нехваткой усердия; в третьих, ещё в юности у многих из нас вырабатывается высокомерное презрение к обрядам инициации упорядоченного обучения, а в четвёртых, от отца к сыну почти всегда переходит ярко выраженная антипатия к церкви, полиции и интеллектуальным авторитетам.

Поэтому большинство наших академических карьер заканчивается уже в гимназии, самое позднее, на третьем или четвёртом семестре университета. Только раз в пару десятилетий Лё Галлю удаётся довести учёбу до конца и смириться с кем-то из светских или духовных авторитетов. Такой потом становится юристом, врачом или священником и добивается уважения семьи,

но и некоторого недоверия.

До небольшой посмертной славы добрался мой двоюродный прапрадед – Серж Лё Галль, который вскоре после немецко-французской войны вылетел из гимназии за потребление опиума и устроился надсмотрщиком в тюрьму в Кане. Он вошёл в историю тем, что попытался мирно, без привычной резни усмирить тюремный бунт, за что один арестант в благодарность раскроил ему череп топором. Другой предок отличился тем, что сделал эскиз почтовой марки для вьетнамской почты, а мой отец строил в молодости нефтепроводы в алжирской Сахаре. В остальном же мы, Лё Галли, зарабатываем свой хлеб как инструкторы ныряльщиков, водители-погрузчики или госслужащие. Мы продаём пальмы в Бретани и немецкие мотоциклы – нигерийской дорожной полиции, а один мой двоюродный брат работает на полставки детективом в банке Сосьете Женераль, разыскивая скрывающихся заёмщиков.

Тем, что большинство из нас всё-таки проходят свой жизненный путь упорядоченно, мы обязаны нашим жёнам. Все мои невестки, тётки и бабушки по отцовской линии – сильные, практичные и добрые женщины, которые осуществляют сдержанный, но беспрекословный матриархат. В профессиональном плане они часто успешнее своих мужей и зарабатывают больше денег, именно они заполняют налоговые декларации и разбираются со школьной администрацией. Благодарные мужья, в свою очередь, платят им за это своей верностью и кротостью.

Я думаю, мы скорее миролюбивые супруги. Мы не врём и стараемся не потреблять алкоголь во вредоносных количествах; мы держимся в стороне от других женщин, по дому мы мастера на все руки, и, без сомнений, мы очень любим детей. На наших семейных встречах заведено, что мужчины после обеда занимаются детьми, в то время как женщины едут на пляж или за покупками. Наши жёны умеют ценить то, что нам для счастья не нужны дорогие машины и что нам не приходится летать на Барбадосские острова, чтобы поиграть в гольф. Они мягко снисходительны к тому, что мы маниакально ходим на блошиный рынок и тащим оттуда домой всякую всячину: чужие фотоальбомы, прибор для очистки яблок, отслужившие проекторы, для которых больше не производят диапозитивы нужного формата, настоящий перископ с подводной лодки, через который всё видно вверх ногами, хирургические пилы, ржавый револьвер, изъеденные жучком граммофоны и электрические гитары, на которых отсутствует каждый второй лад. Мы тащим всю эту рухлядь домой, чтобы потом на протяжении месяцев

полировать, чистить и пытаться её починить, перед тем как отдать кому-нибудь, отнести назад на блошиный рынок или просто выбросить. Мы делаем это, чтобы расслабить нашу вегетативную нервную систему; собаки едят траву, гимназистки слушают Шопена, университетские преподаватели смотрят футбол, а мы мастерим из старья. На удивление многие из нас по вечерам, когда дети уже спят, рисуют маслом небольшие картины. А один, это я знаю не понаслышке, тайно пишет стихи. К сожалению, не очень хорошие.

Передняя скамья собора вибрировала от мужественно подавляемого волнения. Неужели сюда и впрямь явилась мадмуазель Жанвье, как она посмела? Женщины опять смотрели прямо перед собой и держали спину, как будто всё их внимание было сосредоточено на гробе и вечном свете над алтарём; но мы-то, мужчины, хорошо знали наших жён, понимая, что на самом деле они напряжённо вслушивались в стаккато мелких шагов, которые двигались сбоку к центральному проходу, потом повернули под прямым углом и без малейшего колебания, не замедляясь и не ускоряясь, как метроном, ровно отстукивая такт, спешили вперёд. Тот, кто украдкой косился в середину зала, мог краем глаза видеть её маленькую фигурку, как она легконого, словно девочка, взбежала по красному ковру на две ступени к изножию гроба, положила правую руку на его край и беззвучно проскользила к изголовью, где, наконец, остановилась и на несколько секунд замерла почти по-солдатски навытяжку. Она подняла вуаль на шляпку и наклонилась, простёрла руки и положила их на край гроба, поцеловала моего деда в лоб и приникла щекой к его восковой голове, как будто хотела немного отдохнуть; при этом она повернулась не к алтарю, пряча лицо, а представила его нам на обозрение. И мы смогли увидеть, что глаза её закрыты, а накрашенные красной помадой губы растянулись в улыбку, которая становилась всё шире, пока рот не раскрылся в беззвучном смехе.

Наконец она оторвалась от покойного и выпрямилась, сняла с локтя сумочку, открыла её и быстрым жестом достала круглый, матово поблёскивающий предмет величиной с кулак. То был, как мы смогли удостовериться чуть позже, старый велосипедный звонок в виде полушария, его хромированный слой пошёл тонкими трещинами, а кое-где совсем облупился. Она закрыла сумочку, снова повесила её на локоть и дважды позвонила в звонок. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Пока звон отдавался в церковных стенах, она положила звонок в гроб, повернулась к нам и посмотрела каждому из нас, по очереди, прямо в глаза. Она начала слева, где сидели меньшие дети со своими отцами,

прошлась взглядом по всему ряду, останавливаясь на каждом, может быть, по одной секунде. Дойдя до правого края, она озарила нас победной улыбкой, пришла в движение и заспешила мелкими шагами к выходу, мимо семьи, по центральному коридору.

ГЛАВА 2

На момент знакомства с Луизой Жанвье моему деду было семнадцать лет. Мне нравится представлять его себе совсем молодым парнем – как весной 1918 года в Шербурге он привязал свой чемодан из укреплённого картона к велосипеду и навсегда покинул отчий дом.

О его молодости я знаю совсем немного. На семейном снимке того времени запечатлён крепкий малый с высоким лбом и непокорными светлыми волосами, который с любопытством наблюдает за манипуляциями студийного фотографа, насмешливо склонив голову набок. А ещё я знаю из его собственных рассказов, которые он на склоне лет излагал немногословно и с наигранной неохотой, что в гимназии он часто отсутствовал, так как предпочитал бродить со своими лучшими друзьями, которых звали Патрис и Жоэль, по пляжам Шербурга.

В одно штормовое январское воскресенье 1918 года, когда ни один здравомыслящий человек не решился бы приблизиться к океану на расстояние видимости, они втроём в пургу нашли у склона в кустах прибитый морем сломанный парусный ялик. Посередине была пробоина, борт по всей длине слегка обгорел. Они перетащили лодку за кусты и в следующие недели, поскольку законный владелец не объявился, с большим увлечением собственноручно её чинили, драили и красили в разные цвета, пока она не стала выглядеть как новая и была больше не опознаваема.

С тех пор всякий свободный час они уплывали в пролив Ла-Манш, чтобы порыбачить, подремать, покурить сушеный фукус из трубок, которые они вырезали из кукурузных початков; когда на поверхности воды появлялось что-нибудь интересное: планка, штормовой маячок от затонувшего корабля или спасательный круг, они забирали это с собой. Иногда военные корабли проходили так близко, что их маленький чёлн качало из стороны в сторону как телёнка на выгоне в первый день весны. Часто они проводили в море целый день, огибали мыс и правили на запад, пока на горизонте не появлялись британские проливные острова, и поворачивали обратно к берегу уже в свете вечерних сумерек. По выходным они ночевали в рыбацкой избушке, владелец которой в день своего призыва не успел как следует забаррикадировать заднее окошко.

Отец Леона Лё Галя – то есть мой прадед – ничего не знал о парусном ялике своего сына, но с тревогой относился к его бродяжничеству по пляжу. Он был учителем латыни, стареющим

раньше времени и курившим сигареты одну за другой, который стал изучать латынь только для того, чтобы как можно больше досадить своему отцу; за это удовольствие он десятилетиями расплачивался школьной службой, которая сделала его мелочным, чёрствым и озлобленным. Чтобы оправдать перед самим собой свою латынь и продолжать чувствовать себя живым, он освоил энциклопедические знания о следах римской цивилизации в Бретани и гонял этого конька со страстью, которая никак не соответствовала ничтожности темы. В гимназии его бесконечные, удручающе монотонные, сопровождаемые непрерывным курением доклады о глиняных черепках, термальных банях и военных дорогах обросли легендами и внушали страх. Ученики спасались тем, что не спускали глаз с его сигарет и подстерегали момент, когда он начнёт писать ими на доске и курить мел.

То, что в день всеобщей мобилизации из-за астмы его освободили от военной службы, он воспринял с одной стороны как удачу, а с другой – как позор, так как в учительской он остался единственным мужчиной среди молодых женщин. Страшен был его гнев, когда он узнал от коллег, что его единственный сын уже много недель почти не появляется в школе, и нескончаемы были его нотации за кухонным столом, которыми он пытался убедить юношу в ценности классического образования. Над ценностью классического образования тот только посмеивался и, в свою очередь, пытался доказать старику, что как раз сейчас его присутствие на пляже жизненно необходимо, так как в последние недели немцы начали маскировать свои подводные лодки под рыбацкие с помощью деревянных конструкций и цветной эмали, импровизированных парусов и поддельных сетей.

Отец в ответ поинтересовался, в чём причинно-следственная связь между немецкими подводными лодками и пропусками занятий в гимназии.

Замаскированные подводные лодки, терпеливо объяснил сын, могут подкрасться к французским рыболовным ботам и безжалостно их потопить, чтобы ухудшить продовольственное снабжение французского народа.

– И? – спросил отец, кашляя и стараясь успокоиться. Любое волнение могло вызвать приступ астмы.

– Каждый день к берегу прибивает обломки: древесину, латунь, сталь, парусину, керосин в бочках…

– И? – спросил отец.

– Это ценное сырьё надо подбирать, чтобы его опять не смыло в море, – говорил Леон.

В то время как их спор неудержимо приближался к драматической развязке, отец и сын сидели за кухонным столом в той якобы лениво-расслабленной позе, которая так характерна для всех Лё Галей; они далеко вытягивали ноги под стол, откинувшись на спинку стула так, что ягодицами едва касались края сиденья. Так как оба были рослые и тяжёлые мужчины, у них было тонкое восприятие гравитации, и они знали, что именно в горизонтальном положении тело ближе всего к левитации, так как каждый его член несёт только собственный вес и освобождён от остальной массы тела, в то время как в положении сидя или стоя все части тела громоздятся друг на друга и в сумме дают тяжесть в центнер. Однако сейчас они были взвинчены, и их голоса, почти неотличимые друг от друга с тех пор, как у сына закончилась ломка голоса, дрожали от еле сдерживаемого гнева.

– Завтра утром ты снова пойдёшь в школу, – сказал отец, подавляя кашель, который из глубины груди поднимался к горлу.

– Национальная военная экономика остро нуждается в сырье, – возражал сын.

– Завтра утром ты снова пойдёшь в школу, – повторил отец.

Сын отвечал, что отцу всё-таки следует подумать о национальной военной экономике, с беспокойством отмечая, каким тяжёлым становится отцовское дыхание.

– Национальная военная экономика пусть поцелует меня в задницу, – задыхался отец. После чего разразился приступ кашля, который на минуту прервал разговор.

– И это даёт заработать неплохие карманные деньги, – сказал сын.

– Во-первых, это преступные деньги, – сипел отец. – А во-вторых, правила гимназии о пропуске занятий касаются всех, в том числе тебя и твоих друзей. Мне не нравится, что вы взяли себе такую свободу.

Сын спросил, что отец имеет против свободы и задумывался ли он, что каждый закон, для того, чтобы его соблюдали, должен иметь здравый смысл.

– Значит, вы берёте себе свободу только потому, что это свобода, – простонал отец.

– Ну и что?

– Но суть правила именно в том, что оно относится к каждому без исключения, и в особенности к тем, кто считает себя умнее других.

– Но мы не можем отрицать факт, что есть люди, которые умнее других, – осторожно заметил сын.

– Во-первых, это не относится к делу, – сказал отец, – а во-вторых, насколько мне известно, на занятиях тебя не заподозришь

в выдающихся умственных способностях. Завтра утром ты снова пойдёшь в школу.

– Нет, – ответил сын.

– Завтра ты снова пойдёшь в школу! – взревел отец.

– Я вообще больше никогда не пойду в школу! – взревел сын.

– Пока ты вытягиваешь ноги под мой стол, ты будешь делать то, что я говорю!

– Ты мне не указ!

После этих прямо-таки классических пререканий спор перерос в драку, в которой двое мужчин, как школьники, катались по кухонному полу, а кровь не пролилась только благодаря быстрому и мужественному вмешательству матери.

– Всё, хватит! – отрезала она и подняла за уши мужчин, один из которых плакал, а другой задыхался. – Ты, дорогой, принимаешь своё успокоительное и ложишься спать, я сейчас приду. А ты, Леон, идёшь завтра утром к мэру и записываешься на работу. Раз уж у тебя так болит душа за военную экономику.

Как оказалось, на следующее утро, военная экономика и в самом деле могла использовать гимназиста Лё Галя – но не на пляже, как он надеялся. Более того, мэр пригрозил ему тремя месяцами тюрьмы, если он снова будет незаконно присваивать себе то, что море выносит на берег, и подробно расспросил о других его знаниях и навыках, которые могут быть использованы на благо военной экономики.

При этом оказалось, что Леон – хотя и был крепкого телосложения, – не имел ни малейшего желания использовать свою мышечную силу. Он не хотел быть ни крестьянским, ни конвейерным рабочим, и роль подручного у кузнеца или плотника его тоже не устраивала. Так же дело обстояло и с его интеллектуальными способностями: он был, конечно, не дурак, но в гимназии не проявил склонности ни к одному предмету и ни в одном не расшибался в лепёшку, потому и в отношении будущей карьеры у него не было конкретных планов или пожеланий. Конечно, ему хотелось бы ради службы родине совершить на своём парусном ялике шпионскую вылазку в Северное море и пустить на немецком побережье в обращение фальшивые рейхсмарки, чтобы дестабилизировать валюту врага; но так как это не было реалистичной перспективой трудоустройства, он лишь пожал плечами, когда мэр спросил его о планах. Интерес к военной экономике был уже совершенно потерян. Дело осложнялось тем, что шея у мэра была как у индюка, а нос в красно-синих прожилках. Леон, как и большинство молодых людей, обладал сильной эстетической чувствительностью и не мог себе представить, что человека с

такой шеей и с таким носом можно воспринимать всерьёз. Мэр, ворча, прошёлся по списку вакансий, который ему прислал военный министр.

– Ну, давай посмотрим. Так, вот. Трактором управлять умеешь?

– Нет, месьё.

– А тут – требуется сварщик. Варить-паять умеешь?

– Нет, месьё.

– Понятно. Шлифовать оптические линзы ты тоже не умеешь, да?

– Нет, месьё.

– А наматывать катушки для электродвигателей? Водить трамвай? Рассверливать дула пистолетов? – Мэр усмехнулся, это начало его забавлять.

– Нет, месьё.

– Может быть, ты специалист по внутренним болезням? Эксперт в области права международной торговли? Инженер-электрик? Чертежник подземных сооружений? Шорник? Кузовщик?

– Нет, месьё.

– Я так и думал. Ни в дублении кожи, ни в двойной бухгалтерии ты тоже ничего не понимаешь, не так ли? А язык кисуахели? Ты говоришь на кисуахели? А бить чечётку? Телеграфировать азбукой Морзе? А рассчитать силу тяги стальных тросов у подвесных мостов?

– Да, месьё.

– Что? Кисуахели? Стальные тросы у подвесных мостов?

– Морзе, сэр. Я знаю азбуку Морзе.

Действительно, несколько недель назад молодёжный журнал «Юный изобретатель», который Леон выписывал, напечатал азбуку Морзе, и однажды дождливым воскресным вечером Леону вздумалось её выучить.

– Это правда, малыш? Ты меня не дуришь?

– Нет, месьё.

– Значит, нашлось что-то и для тебя! Станция Сен-Люк-на-Марне ищет помощника телеграфиста, в качестве заместителя основного служащего. Составлять накладные, объявлять о прибытии и отправлении поездов, помогать продавать билеты. Справишься?

– Так точно, месьё.

– Минимум шестнадцать лет, мужской пол, гомосексуалисты, венерические больные и коммунисты нежелательны. Ты же не… коммунист?

– Нет, месьё.

– Ну, тогда протелеграфируй мне что-нибудь. Передай-ка мне азбукой Морзе, как там, ах да: «Из бездны взываю к тебе, Господи». Давай, давай, прямо здесь, на письменном столе.

Леон затаил дыхание, взглянул на потолок и начал отстукивать средним пальцем правой руки. Короткий–короткий–длинный, короткий–длинный–короткий, короткий–короткий–короткий…

– Ладно, хватит, – прервал мэр, который всё равно не знал азбуки Морзе и не смог бы оценить виртуозность Леона.

– Я могу телеграфировать, месьё. Где находится этот Сен-Люк-на-Марне?

– На Марне, дурья твоя голова, где-то между луком и фасолью. Не бойся, это не на линии фронта. Должность срочная, можешь немедленно приступать. Ты даже будешь получать зарплату: сто двадцать франков. Да, можем попробовать.

Вот так и получилось, что в весенний день 1918 года Леон Лё Галль привязал картонный чемодан к своему велосипеду, сердечно поцеловал мать, немного помешкав, обнял отца, сел на велосипед и надавил на педаль. Он ускорялся так, как будто в конце улицы Де Фоссе должен был оторваться от земли, как Луи Блерио, который недавно пересёк Ла-Манш на самодельном самолете из ясеневых досок и велосипедных колес. Он мчался мимо небогатых, но претендующих на благопристойность мелкобуржуазных домов, в которых его друзья Патрис и Жоэль в это время макали в кофе с молоком вчерашний военный хлеб с опилками, мимо пекарни, кормившей его хлебом всю прежнюю жизнь, мимо школы, где его отец прослужит ещё четырнадцать лет, три месяца и две недели. Он проехал мимо портовой гавани, где американский зерновой танкер мирно стоял рядом с британскими и французскими военными кораблями, пересёк мост и свернул направо на проспект Дё Пари, счастливый и без единой мысли о том, что, возможно, никогда больше ничего этого не увидит, он миновал склады, подъёмные краны и сухие доки и вырвался из города в бесконечные луга и пастбища Нормандии. Не проехав и десяти минут, ему пришлось остановиться, так как стадо коров перекрыло дорогу; дальше он ехал уже медленнее.

Предыдущей ночью прошёл дождь, и дорога была приятно влажной и не пылила. На парящих лугах цвели яблони и паслись коровы. Леон ехал навстречу солнцу. Западный ветер легонько дул ему в спину, подгоняя вперёд. Через час он снял куртку и привязал её к чемодану. Он обогнал лошака, впряжённого в телегу. Потом он встретил крестьянку с тачкой и проехал мимо грузовика, который стоял на обочине с дымящимся мотором. Коней он не видел; Леон читал в журнале «Юный изобретатель»,

что почти все лошади Франции были отправлены на фронт.

На обед он съел бутерброд с ветчиной, который мать завернула ему с собой, и запил водой из деревенского источника. Во второй половине дня он лёг под яблоней, жмурясь, посмотрел на розовые цветы и нежно-зелёные листья и отметил, что дерево не подрезали уже несколько лет.

Вечером он прибыл в Кан, где должен был переночевать у тети Симоны. Она была младшей сестрой того самого Сержа Лё Галля, которому раскроили череп топором во время тюремного бунта. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Леон видел её в последний раз; он помнил ее пышную грудь под блузкой, её смех и большой красный рот, и что на пляже её воздушный змей парил выше всех остальных. Но вскоре её муж и двое сыновей один за другим ушли на войну, и с тех пор тётя Симона оправляла в Верден по три письма в день, сходя с ума от горя и тревоги.

– Значит, это ты, – сказала она, впуская его. В доме пахло камфарой и дохлыми мухами. У неё были спутанные волосы, выцветшие и потрескавшиеся губы. В правой руке она держала чётки.

Леон поцеловал её в обе щеки и передал привет от родителей.

– Хлеб и сыр – на кухонном столе. – сказала она. – И бутылка сидра, если хочешь.

Он вручил ей жареный миндаль, который мать дала ему с собой как гостинец.

– Спасибо. Иди на кухню и поешь. Спать будешь рядом со мной, кровать довольно широкая.

Леон вытаращил на неё глаза.

– Я не могу положить тебя в комнате мальчиков, мне приходится сдавать её вместе со спальней беженцам с севера. А диван из гостиной я продала, потому что мне нужно было место для кровати.

Леон открыл рот, чтобы что-то сказать.

– Кровать широкая, не валяй дурака, – сказала она, – проводя рукой по тусклым волосам. – Я устала после тяжёлого дня, и у меня нет сил с тобой препираться.

Не говоря больше ни слова, она пошла в гостиную, забралась под одеяло во всех своих юбках, блузках и чулках, отвернулась к стене и уже не шевелилась.

Леон пошёл на кухню. Он ел хлеб с сыром, смотрел в окно и в ожидании темноты опустошил целую бутылку сидра. И только услышав храп тёти Симоны, он пошёл в гостиную, лёг рядом с ней, вдохнул кисло-сладкий запах её женского пота и стал ждать, когда колдовская сила сидра перенесёт его в другой мир.

Когда на следующее утро он открыл глаза, тётя Симона лежала рядом с ним в том же положении, но больше не храпела. Леон чувствовал, что она только притворяется спящей, а на самом деле ждёт, когда он исчезнет из её дома. Он взял свою обувь в правую руку, чемодан – в левую и крадучись спустился по лестнице.

Стояло безветреное, солнечное утро. Леон пустился в путь по прибрежной дороге через Ульгат и Онфлёр; поскольку был отлив, он перекинул свой велосипед через парапет на пляж и несколько километров ехал по мокрому и твёрдому песку вдоль береговой линии. Песок был жёлтым, море зелёным, синея к горизонту; лишь несколько детей играли на песке, они были в красных купальниках, а их матери в белых юбках; иногда на песке стояли старики в чёрных пиджаках и ковырялись тросточками в высохших водорослях.

Поскольку и отец, и мэр Шербурга были далеко и не могли его увидеть, Леон немного поискал, чего принесло море. Он нашёл длинный кусок не очень растрёпанного каната, несколько бутылок, оконный переплёт со шпингалетами и полупустую канистру бензина.

В полдень он приехал в Довиль, а вечером добрался до Руана, где должен был переночевать у тёти Софи; но прежде, по настоятельному совету отца, ему надо было осмотреть собор – якобы один из лучших образцов готического зодчества. Леон раздумывал, не послать ли и тётю, и образец готического зодчества и не переночевать ли лучше в чистом поле. Но потом одумался, что дни в апреле хоть и длинные, а ночи всё ещё сырые и холодные, и что у тёти Софи не могло быть ни мужа, ни сыновей в Вердене, потому что она всю свою жизнь прожила одна; к тому же славилась своими яблочными пирогами. Когда он приехал, она стояла в палисаднике в крахмальном белом фартуке и махала ему.

На третий день, поднимаясь с кровати, он почувствовал жуткую мышечную боль. Еле спустился с крыльца, и первый час на велосипеде был пыткой, но потом стало легче. Теперь ветер дул с севера, начало моросить. Путь ему пересекали длинные колонны армейских грузовиков с юга; под брезентом сидели солдаты, они угрюмо курили, зажав свои винтовки коленями. В полдень он проехал мимо сгоревшего крестьянского двора. Вика вилась по обугленным балкам, в свинарнике взошли молодые берёзки, из чёрных оконных дыр ещё несло горелым; в куче навоза торчали ржавые вилы без черенка. Он взял их и пристроил на багажник к другим находкам.

Леон знал, что осталось немного; из-за холмов уже

показалась какая-то башня – должно быть, колокольня Сен-Люка-на-Марне. И правда, за следующим пригорком открылась деревня с церковью, но то был не Сен-Люк. Леон пересёк деревню и въехал на следующий холм, спустился оттуда в очередную деревню, дальше опять поднялся в гору, за которой была новая деревня, а после неё новый холм. Он пригнулся к рулю, силясь не замечать боль, и воображал, что он с велосипедом – единая машина, которой безразлично, сколько ещё холмов последует за следующим холмом.

Холмы закончились лишь ближе к вечеру. Перед Леоном лежала прямая аллея, она тянулась через бесконечную равнину. Езда по горизонтали была отрадой, к тому же ему казалось, что платаны немного защищают от бокового ветра. Именно в этот момент он услышал за собой шум – короткий скрип, который периодично повторялся, становясь всё громче. Леон обернулся.

Он увидел молодую женщину на старом, ржавом мужском велосипеде, она сидела на седле прямо, расслабленно и быстро приближалась к нему; очевидно, скрип издавала правая педаль, которая при каждом нажатии задевала за цепной щиток. Она была уже совсем близко, того и гляди перегонит его; чтобы этого не допустить, он поднялся с седла и налёг на педали. Но уже через несколько секунд она поравнялась с ним, махнула рукой, крикнула: «Бонжур!» – и проехала мимо, словно он просто стоял на обочине.

Леон смотрел ей вслед, как она под утихающий скрип становилась всё меньше и меньше и, наконец, исчезла в той точке, где двойной ряд платанов смыкался с горизонтом. Это была необычная девушка. Веснушки и густые тёмные волосы, обрезанные – скорее всего собственноручно – на одну длину от уха до уха. Приблизительно его ровесница, может, чуть моложе или старше – трудно сказать. Большой рот, мягкий подбородок. Приятная улыбка. Мелкие белые зубы с забавной щербинкой между верхними резцами. Глаза – зелёные? Белая блузка в красный горошек, которая сделала бы её на десять лет старше, если бы синяя школьная юбка не делала её на десять лет моложе. Красивые ноги, насколько он мог оценить за такое короткое время. И так чертовски быстро ездит.

Леон больше не чувствовал усталости, ноги снова делали свою работу. Какая потрясающая девушка! Он старался удержать её образ перед глазами и был удивлён тому, что уже не получалось. Конечно, он чётко видел блузку в красный горошек, ноги, крутящие педали, поношенные тапочки на шнурках и улыбку, которая была не только милой, но и чарующей, сногсшибательной, приносящей счастье, от которой захватывает

дух и щемит сердце, в которой сливаются доброта, ум, насмешка и робость. Но отдельные части, несмотря на все усилия, не хотели сливаться в единое целое, он видел только цвета, формы, конечности – единый облик ускользал от него.

Он по-прежнему чётко слышал скрип педали о цепной щиток, так же как и её ясное «Бонжур!» – и вдруг сообразил, что не ответил на приветствие. Он сердито ударил правой рукой по рулю, велосипед резко вильнул, и он чуть не упал. «Бонжур, мадмуазель!» – прошептал он, как будто упражняясь, потом всё громче, всё решительнее: «Бонжур!», а потом ещё на один тон мужественнее и увереннее: «Бонжур!»

Леон возобновил задуманное перед отъездом намерение начать в Сен-Люке новую жизнь. Отныне он будет пить кофе не дома, а в бистро, и будет оставлять на прилавке пятнадцать процентов чаевых, и будет читать не «Юный изобретатель», а «Фигаро» или «Паризьен», по тротуару он теперь будет не бегать, а прохаживаться. И если молодая женщина поздоровается с ним, он, вместо того, чтобы раскрыть в оцепенении рот, бросит ей короткий, проницательный взгляд и небрежно поздоровается в ответ.

Усталость вернулась, и ноги были тяжёлые, как свинец. Теперь он проклинал безбрежную равнину. Если прежний холмистый ландшафт хотя бы чередовал надежду и разочарование, теперь было ясно без иллюзий – до цели ещё далеко. Не желая больше видеть бесконечную даль, он положил локти на руль и, уронив голову, видел только свои ступни на педалях, а чтобы не сбиться с пути, краем глаза фиксировал обочину.

Вот почему он не заметил, что далеко впереди косые солнечные лучи, прорезав облака, упали на зелёные поля пшеницы и что на горизонте между платанами возникла точка, которая становилась всё больше и больше, пока не превратилась в блузку в красный горошек. Леон также не заметил, что молодая женщина ехала теперь, не держась за руль, и когда он, наконец, услышал знакомый скрип, она была уже совсем близко, сверкнула зубами с милой щербинкой, помахала и проехала мимо.

– Бонжур! – крикнул Леон, сердясь на себя, что опять спохватился слишком поздно. Ещё только не хватало, чтобы она обогнала его второй раз, поскольку снова была теперь у него за спиной; этого унижения он должен был избежать. Он наклонился к рулю, пытаясь ускориться, и через несколько сотен метров оглянулся назад, желая увидеть, не появилась ли она опять на горизонте; вскоре, правда, выпрямился и заставил себя ехать медленнее. В конце концов было маловероятно, что эта

неугомонная личность в третий раз за несколько минут пронесётся по той же дороге. И даже если пронесётся, он эту гонку – которая для неё и гонкой-то не была – всё равно проиграет. Он остановился, положил свой велосипед на гравий, перепрыгнул через кювет и растянулся на траве. Теперь она может проезжать спокойно. Он будет лежать в траве и жевать соломинку как человек, желающий передохнуть, и только крикнет ей, приложив указательный палец к краю фуражки, громко и чётко: «Бонжур!»

Леон съел последний из трёх бутербродов с сыром, которые завернула ему тётя Софи. Он снял ботинки и растёр горящие ступни, время от времени косясь на пустынную дорогу. Порыв ветра принес небольшой дождь, который, правда, вскоре прекратился. Мимо проехал тёмно-синий грузовик, на котором золотыми буквами было написано «Надежда», чуть позже по полю пробежала чёрно-белая собака. И вдруг ему стало ясно, как глупо он выглядит с его травинкой и показной расслабленностью; конечно, девушка, если бы она снова проехала, с первого взгляда раскусила бы его спектакль. Он выплюнул травинку, снова натянул ботинки, перепрыгнул через канаву и сел на велосипед.

ГЛАВА 3

Железнодорожная станция Сен-Люк-на-Марне находилась в полукилометре от города между пшеничными полями и картофельными посадками на подъездном пути Северной железной дороги. Здание станции было выложено из красного кирпича, пакгауз – из обветшалых еловых брёвен. Леон получил чёрную форму с сержантскими лычками на рукавах, которая на удивление сидела на нём как влитая. Он был единственным подчинённым своего единственного руководителя, начальника станции Антуана Бартельми. Это был худощавый, добродушный мужичок с трубкой и обвислыми усами, который выполнял свою работу добросовестно и немногословно. Изо дня в день он часами сидел за рабочим столом, чертя в блокноте геометрический узор, в терпеливом ожидании момента, когда ему можно будет вернуться в свою служебную квартиру на верхнем этаже над кассовым залом. Там уже не один десяток лет его круглые сутки ждала жена Жозианна, румяная, смешливая, отменная повариха с округлыми бёдрами.

Работы на станции Сен-Люк-на-Марне было не так много. Утром и после обеда в обе стороны по расписанию проходили три электрички; скоростные поезда на большой скорости проносились мимо, поднимая за собой такой ураган, что у иного человека на перроне прехватывало дыхание. Ночью, в два часа двадцать семь минут, мимо проходил ночной поезд Кале – Париж, с тёмными спальными вагонами, в которых нет-нет да мелькало освещённое окно, потому что какой-то богатый пассажир не мог заснуть в своей мягкой постели.

К собственному удивлению, Леон Лё Галль с первого дня более-менее справлялся со своей работой телеграфиста. Его служба начиналась в восемь утра, а заканчивалась в восемь вечера, с часовым перерывом на обед. Воскресенье было выходным днём. В его обязанности входило стоять на перроне к приходу поезда и сигнализировать машинисту красным флажком. По утрам он должен был обменивать вчерашние пустые мешки на мешок с почтой и мешок с парижскими газетами. Если крестьянин отправлял ящик порея или раннего лука в качестве тарного груза, он должен был взвесить товар и оформить транспортную накладную. А когда телеграфный аппарат начинал работать, он должен был оборвать бумажную ленту и перенести новость на телеграфный бланк. Сообщения приходили всегда служебные, телеграфный аппарат служил исключительно железной дороге.

Конечно, Леон дерзко врал, заверяя, что знает азбуку Морзе, и сдал практический экзамен на письменном столе только потому, что мэр понимал в этом предмете ещё меньше, чем он сам. К счастью, станция Сен-Люк-на-Марне была удалённым местом, куда приходило не больше четырёх-пяти телеграмм в день; поэтому у Леона было сколько угодно времени, чтобы расшифровать их с помощью «Юного изобретателя», который он предусмотрительно взял с собой.

Сложнее было отправить новость самому, что случалось примерно раз в два дня. Тогда он с бумагой и карандашом запирался в туалете и, прежде чем идти к аппарату, переводил латинские буквы в точки и тире. Всё шло хорошо, пока телеграмма насчитывала всего несколько слов. Однако в третий понедельник месяца шеф сунул ему в руки месячный отчёт и поручил передать, дословно и в полном объёме, в центральное управление в Реймс.

– Почтой? – спросил Леон, перелистывая отчёт, который состоял из четырёх страниц, исписанных мелким почерком.

– Телеграфом, – ответил шеф. – По предписанию.

– Почему так?

– Не знаю. Такая инструкция. Всегда так было.

Леон кивнул и стал думать, как быть. Когда шеф, как обычно, ровно в половине десятого поднялся на кофе к своей Жозианне, он схватил телефон, попросил соединить его с центральным управлением, и начал диктовать отчёт, как будто это была обычная практика на протяжении многих десятилетий. А когда телефонистка пожаловалась на непривычную сверхурочную работу, он объяснил, что вчерашней ночью от удара молнии телеграф пришёл в негодность.

Комната Леона находилась далеко от квартиры начальника станции, на верхнем этаже пакгауза. Там у него была своя кровать, стол и стул, а также умывальник с зеркалом и окно с видом на пути. Здесь его никто не тревожил, и он мог делать всё, что душе угодно. Делал он, правда, не много: чаще всего просто лежал на кровати, закинув руки за голову, и разглядывал текстуру древесины на балках.

На обед и на ужин жена начальника станции, которую ему позволено было называть просто мадам Жозианна, приносила ему еду; при этом она окружала его материнской заботой, ласково называла ангелом, ласточкой, золотцем, справлялась, не болит ли живот, хорошо ли он спал, не скучает ли по дому, предлагала подстричь ему волосы, связать шерстяные носки, исповедать и постирать бельё.

В остальном ему никто не докучал, и он наслаждался этим.

Когда мимо проезжал поезд, он подходил к окну, считал пассажирские и товарные вагоны, вагоны для скота и пытался угадать, что они перевозят. Один раз он взял к себе домой газету, оставленную пассажиром на скамейке, но уже через несколько минут устал от сообщений о формировании правительства Клемансо, распределении масляного пайка, переброске войск к Шеман-де-Дам и передаче золота банку Франции; а к национальной военной экономике, оставшейся далеко на пляже Шербурга, у него пропал всякий интерес. Постепенно он признал, что на этом свете его интересовало только одно – девушка в блузке в красный горошек.

Хотя со дня своего приезда он больше её не видел, но постоянно, хотел он того или нет, думал о ней. Какое у неё могло быть имя: Жанна? Мари-Анна? Доминик? Вирджиния? Франсуаза? Софи? Он тихо произносил каждое из этих имён, пробуя их на слух, и выводил их пальцем на обоях в цветочек у своей кровати.

Леону было хорошо в его новом доме, и по прошлой жизни он совсем не скучал. Отчего ему было тосковать по родине? Если бы он захотел, мог бы в любой момент сесть на свой велосипед и вернуться в Шербург. Родители до конца своих дней будут ждать его с распростёртыми объятьями в их неизменном домике на улице Де Фоссе, пляж Шербурга в день его возвращения на родину будет таким же, каким он его оставил, он выйдет в море на парусном ялике с Жоэлем и Патрисом, как будто и не прошло столько времени, и уже через три дня все в Шербурге забудут, что он вообще когда-то уезжал. Поэтому для поспешного возвращения не было никаких причин, пусть даже он иногда и чувствовал себя одиноко. А пока он мог так же прекрасно оставаться в Сен-Люке, пробуя свою новую, самостоятельную жизнь.

Неприятным в его комнате было только то, что балки и деревянные стены пакгауза скрипели, хрустели и скрежетали, так что становилось жутко. Днём, когда их нагревало солнце, они покрякивали, а вечером, остывая, потрескивали; в утренних сумерках, когда ночной холод крепче всего, они хрустели, а при восходе солнца, снова нагреваясь, скрипели. Иногда это звучало так, будто кто-то поднимается по лестнице в комнату Леона, потом как будто крадётся через чердак или совсем рядом скребёт отвёрткой по стене. Леон, конечно, знал, что там никого нет, но всё равно постоянно прислушивался и не мог заснуть раньше полуночи.

И он взял в привычку после ужина совершать на велосипеде продолжительные поездки по окрестностям и возвращаться домой только после наступления темноты, когда валился с ног от усталости. Поскольку море было далеко, а в округе, кроме

пшеничных и картофельных полей, между которыми рос непроходимый орешник и тянулись узкие дренажные канавы с застоявшейся водой, смотреть было особо нечего, его поездки становились всё короче и всё быстрее заканчивались в пределах городка.

Этим ранним летом 1918 года Сен-Люк-на-Марне состоял из сотни домов, которые расходились от Площади Республики концентрическими кругами. Во внутреннем круге находилась помпезная ратуша в стиле классицизма, школа, построенная в том же стиле, и пара городских домов. Ещё там был крытый рынок, трактир «Артистический», кафе «Дю Коммерс» и романская церковь, позади которой мэр, несмотря на ожесточённый протест священника, с республиканским коварством приказал пристроить общественный туалет. В среднем круге находились почтамт и две булочные, парикмахерская, бакалея, а ещё мясная лавка, магазин скобяных изделий и магазин одежды под названием «В Галереях Площади Вандом», в котором жительницы городка и крестьянки из окрестных деревень покупали то, что они считали парижским шиком. Во внешнем круге среди простых жилых домов располагались кузница, столярная мастерская, а также лавка сельскохозяйственного кооператива, шорная мастерская, памятник павшим воинам, построенный в 1870-м, и, наконец, похоронное бюро, механическая мастерская и пожарная часть.

В первый год войны фронт подкатился неприятно близко, в третий год – опять, и почти в пределах видимости можно было разглядеть развалины некогда цветущих деревень; сам Сен-Люк, правда, остался нетронутым ужасами войны. Самым страшным, что пережил городок, была конфискация пожарного автомобиля по приказу проходящего мимо командующего войсками, а также от случая к случаю вторжение толпы солдат – отпускников с фронта, которые были решительно настроены в одну ночь спустить всё своё жалование. В остальном же в Сен-Люке привыкли к своеобразному обстоятельству, что война бушует только там, где она непосредственно происходит, тогда как здесь цветут лютики, торговки выставляют на продажу свои товары, а матери вплетают ленты в косички дочерей.

Будучи новичком в этих местах, Леон считал, что кафе «Дю Коммерс» – это традиционное место ремесленников, а трактир «Артистический», напротив – место встречи здешних художников и интеллектуалов, но, конечно же, всё оказалось наоборот. Поскольку, как и всюду в вмире, в Сен-Люке успешные адвокаты, торговцы и ремесленники по вечерам, подсчитав и надёжно спрятав в сейфы дневную выручку, умеренно страдали от

недостатка в их жизни красоты и шутки, они с удовольствием проводили своё немногое свободное время в трактире «Артистический», который считали местом встречи художников, поскольку на стенах висели жёлтые от никотина репродукции Анри де Тулуз-Лотрека. Но, как и всюду в мире, в предполагаемом месте встречи художников давно уже не водилось людей искусства, поскольку они сбежали от слишком приспособленных к жизни на другую сторону площади в кафе «Дю Коммерс». Там теперь и сидела после этой рокировки из вечера в вечер местная богема, в надёжном отдалении от буржуазии, но скучая не меньше последней и страдая от очевидного факта, что и жизнь артиста далеко не такая весёлая и разнообразная, как было бы правильно.

Богема Сен-Люка состояла из двух писательствующих учителей, каждый из которых был уверен в своём превосходстве над другим; хронически унылого церковного органиста; старой девы-акварелистки, а также шепелявого резчика по надгробным плитам и пары закоренелых пьяниц, болтунов и пенсионеров. Вечер за вечером они с упорной весёлостью сидели все вместе за столом для завсегдатаев у круглой угольной печи, труба которой пересекала зал и исчезала в кухонной стене, пили перно и разили чесноком, в то время как в сотне километров отсюда молодых мужчин убивали целыми выпусками одного года рождения, травили газом и проворачивали их пушечное мясо через мясорубку.

Справедливости ради надо сказать, что вины болтунов в их благополучии не было. Деньги лежали практически под ногами, с того времени, как правительство поднимало моральный дух своих солдат, а также их семей щедрыми пособиями, стипендиями и пенсиями; конечно, за деньги купишь не всё, но хлеба, сала и сыра было в избытке. Вино в «Коммерс», может, иногда и разбавляли водой, зато оно было дешёвым, не слишком кислым, и от него не болела голова.

Конечно, завсегдатаи давно перетирали новость, что старый Бартельми на вокзале получил в своём безделье нового помощника, поэтому, когда последний в своей железнодорожной форме в первый раз вошёл через стеклянные двери, его не нужно было представлять.

– К вашим услугам, мой генерал! – крикнул самый заслуженный болтун и салютовал со своего места, а один из учителей встал рядом с ним у стойки, чтобы от имени местных жителей обстоятельно расспросить о его прошлой жизни, о сегодняшних обстоятельствах и планах на будущее. В течение следующих вечеров завсегдатаи с облегчением убедились, что

Леон не разражался громкими речами и не устраивал драк, а спокойно выпивал у стойки один-два стакана бордо и спустя полчаса вежливо освобождал место, как и положено молодому человеку его возраста.

Леон стал приходить в «Коммерс» каждый вечер. Иногда он перекидывался парой слов с хозяином, а иногда и с его дочкой, которая стояла за стойкой по понедельникам, средам и пятницам и была высокой серьёзной девушкой; она казалась немного рассеянной, но даже во время больших попоек держала под контролем, кто сколько выпил и сколько должен заплатить. Леон знал, что она на него поглядывала, и старался скрыть от неё, что сам не сводит глаз с входной двери.

Поскольку приходил он сюда, конечно, не ради красного вина, а в надежде, что когда-нибудь здесь появится девушка в блузке в красный горошек. На багажнике её велосипеда не было клади, поэтому живёт она где-то здесь; если не в самом Сен-Люке, то в одной из окрестных деревень. Городок был небольшим, и уже через несколько дней он почти не встречал незнакомых лиц; он знал пастора и трёх полицейских, пономаря, и всех уличных мальчишек и цветочниц. Но красивую велосипедистку он так и не встретил ни в булочной, ни на почте, ни на улице, ни на воскресной службе, ни на кладбище, ни в прачечной, ни на цветочном рынке, ни на скамейках площади Республики, ни под платанами, обрамляющими канал, ни на входе в кирпичный завод по другую сторону от железнодорожных путей. Однажды он бежал за какой-то велосипедисткой, пока она не слезла с велосипеда и не оказалась женой пекаря с улицы Де Муан, а в другой раз он услышал повторяющийся скрип, но не смог определить, откуда он доносится.

Часто Леон был близок к тому, чтобы спросить хозяина «Де Коммерс» или его дочку о девушке в блузке в красный горошек; но не делал этого, зная, что в маленьких городках ни к чему хорошему не приведёт, если чужой человек осведомляется о местной девушке. Но однажды вечером, когда Леон уже расплатился, дверь широко распахнулась, и лёгким шагом вошла девушка в блузке в красный горошек, только на этот раз на ней была не блузка, а голубой пуловер. Она на бегу захлопнула за собой дверь хорошо рассчитанным взмахом, целеустремлённо подошла к стойке, по пути здороваясь направо и налево. Всего лишь на расстоянии вытянутой руки от Леона она остановилась и заказала у хозяина две пачки сигарет «Турмак». Пока он доставал сигареты с полки, она отсчитала монеты и положила их в чашку для денег, потом откашлялась и кончиками пальцев отвела за ухо прядь, но последняя не хотела там оставаться и тут же

спружинила вперёд.

– Бон суар, мадмуазель, – сказал Леон.

Она повернулась, как будто только сейчас заметила его. Леон посмотрел ей прямо в глаза, и в первые секунды ему показалось, что он узнал в глубине её зелёных глаз предчувствие большой дружбы.

– Я тебя знаю, – сказала она, – вот только откуда?

Её голос был ещё более чарующим, чем сохранила память Леона.

– С просёлочной дороги, – ответил он. – Вы обогнали меня на велосипеде. Два раза.

– Ах, да, – засмеялась она. – Уже давно было дело, не так ли?

– Пять недель и три дня назад.

– Я помню, ты выглядел уставшим. И ещё у тебя к багажнику было привязано что-то странное.

– Канистра бензина и оконный переплёт, – сказал он. – И вилы без черенка.

– Ты так и таскаешь это с собой?

– Когда что-нибудь такое нахожу, то таскаю. Кстати, я рад, что вашему правому глазу лучше.

– А что с моим правым глазом?

– В тот раз он был изрядно покрасневший. Может быть, комар залетел или муха.

Девушка засмеялась:

– То был майский жук, огромный как курица. И ты это запомнил?

– А ваш велосипед скрипел.

– Он до сих пор скрипит, – сказала она и закурила сигарету, которую держала между большим и указательным пальцами, как уличный мальчишка. – А ты? Каждый вечер стоишь здесь, ноги ещё не отстоял?

«О, – подумал Леон. – Девушка знает, что я простаиваю здесь каждый вечер. Так, так. Это значит, что она приняла к сведению моё существование, причём неоднократно. Так, так, так. А сейчас она пришла сюда, и врёт, делая вид, что не узнаёт меня. Так, так, так, так».

– Так и есть, мадмуазель. Вы найдёте меня здесь, когда захотите.

– Почему?

– Потому что я не знаю, где ещё я могу отстаивать себе ноги.

– Такой здоровый парень, как ты? Странно, – сказала она, положила сигареты в сумку и повернулась, чтобы уйти. – А я-то думала, железнодорожники – активные люди, может быть, даже с тягой к дальним путешествиям. Как я заблуждалась.

– Я как раз собирался уходить, – сказал он. – Могу я вас немного проводить?

– Куда?

– Куда хотите.

– Лучше не надо. Дорога ко мне домой проходит через тёмный переулок. Там ты, чего доброго, начнёшь мне рассказывать про родственные души. Или попробуешь погадать по руке.

И ушла.

ГЛАВА 4

Когда Леон разговаривал с девушкой, в кафе «Дю Коммерс» стало непривычно тихо; хозяин усердно протирал один и тот же стакан; завсегдатаи пускали кольца дыма к потолку и тлеющими концами сигарет сгребали в кучки пепел в пепельницах. И вот, когда девушка исчезла за стеклянной дверью, они очнулись из оцепенения и начали разговаривать – пока что вяло и с заминками, но уже в радостном предвкушении момента, когда Леон тоже исчезнет и они смогут обстоятельно, во всех деталях обсудить сцену, которую только что наблюдали.

Действительно, немного погодя Леон застегнул форменную куртку и на прощанье махнул хозяину рукой, но тот, не в силах больше сдерживать свою потребность высказаться, схватил Леона за рукав, навязал ему ещё один стакан бордо на посошок и выложил всё, что знал о девушке в блузке в красный горошек.

Маленькая Луиза – на самом деле, она была не очень маленького роста, но её так называли, чтобы не путать с Толстой Луизой, женой могильщика, – так вот, два года назад маленькая Луиза прибилась к жителям Сен-Люка, как кошка. Некоторые утверждали, что она была сиротой из кирпичной деревушки на Сомме – одной из тех деревень, от которых после немецкого наступления весной 1915 года камня на камне не осталось. Точнее никто не знал; тех немногих, кто в первые недели осведомлялся о её происхождении, она с такой же кошачьей резкостью заставляла замолчать, и впредь этой темы никто не затрагивал. Она говорила на правильном французском, без акцента, который мог бы подсказать, из каких она мест, но это наводило на предположения, что она из хорошей семьи и училась в хорошей школе.

Как и Леон, Луиза попала в городок по распределению, в рамках программы военного министра. Она работала помощницей в аппарате мэра – была курьером, варила кофе и поливала комнатные растения. Она самостоятельно освоила пишущую машинку, которая до этого бесполезно стояла в приёмной. Маленькая Луиза была ловкой и смышлёной девушкой, которой всё лёгко удавалось: комнатные растения росли как никогда, кофе было отменным, и уже совсем скоро она без ошибок печатала на машинке письма.

Мэр был очень ею доволен, и через пару недель с удивлением заметил, что невольно становится чувствительно восприимчив к её грубоватому, нечаянному шарму; понимая, что разница в тридцать лет так и останется разницей в тридцать лет, он

смиренно обязал себя быть предельно сдержанным в отношениях с помощницей, обращался с ней то с наигранной рассеянностью, то с холодной вежливостью или нарочитой строгостью. И всё же он допустил слабость, подарив Луизе – для её курьерских разъездов, которые она исполняла надёжно и быстро, свой старый мужской велосипед, который уже не один год за ненадобностью пылился в сарае.

На нём она рано утром заезжала в почтамт и забирала письма из ящика, в полдесятого покупала круассаны, а если перед обедом вдруг возникали неотложные служебные дела, она срочно вызывала мэра из трактира «Артистический», где он имел обыкновение выпивать аперитив. После обеда она тоже была в разъездах на своём велосипеде: развозила платёжные поручения, ценные указания и небольшие денежные суммы, а также передавала служебные задания служителю магистрата, путевому обходчику, трубочисту или в жандармерию.

Сложнее всего дело обстояло с официальными, немногословными повестками, которые Луиза, по приказу мэра, должна была передавать семьям погибших солдат. Эти повестки были абсолютно пустые, в них только говорилось, что в такой-то день, такой-то час таким-то надлежит явиться в ратушу. В первые месяцы войны озадаченные люди принимали эти повестки, лишь пожав плечами, и послушно пускались в путь, чтобы, ни о чём не подозревая, стоять перед письменным столом мэра, мять в руках шапку и осведомляться, что же такое важное сорвало их с работы и заставило явиться к начальству. На что мэр металлическим голосом уведомлял их, читая по бумажке, о том, что их сын, муж, отец, внук или племянник тогда-то и тогда-то, там-то и там-то пал геройской смертью в бою, служа Отечеству, в чём военный министр лично, так же, как и он, мэр, приносят им глубочайшие соболезнования и благодарность от имени всего народа.

Сцены последующего отчаяния беззащитный мэр пытался смягчить, напоминая безутешным о славе, Отечестве, Мире ином, но это звучало для них как издевательство над горем людей, которые имели право хотя бы на страдания, раз уж им никто больше не вернёт их любимых.

Иногда мэру случалось пережить в своём кабинете две или три таких драмы в день. Он начал искать забвения в анисовом ликёре, но всё равно не мог спать по ночам, с пищеварением начались сбои, голова была тяжёлой, а в его кабинете, который до этого был местом, исполненным важного самодовольства, поселились печаль и страх. Он дошёл до того, что был готов бежать в церковь и молить о пастырской помощи священника, хотя тот был заклятым врагом мэра из-за его шутки с

общественным туалетом.

Так обстояло дело, когда весной 1915 года маленькая Луиза приехала в Сен-Люк и приступила к своим курьерским обязанностям. Она быстро поняла связь между повестками и неуклюжими крестьянскими драмами в кабинете мэра. Десять или пятнадцать раз Луиза наблюдала, как отец города потел и дрожал за своим письменным столом, с трудом подбирая слова и тон, но так и не мог найти выхода из своего неловкого служебного положения; а поскольку она точно знала, что ничего не изменится до конца войны, то решила действовать.

– Извините, пожалуйста, месьё мэр, – сказала она на следующий день, перед тем как доставить очередную повестку.

– Что такое? – сказал мэр, пригладив брови большим и указательным пальцами, и позволил себе взглянуть на красивый изгиб её шеи.

– Это одно из тех самых уведомлений?

– А что же ещё, моя маленькая Луиза, а что же ещё.

– О ком идёт речь?

– О Люсьене, единственном сыне вдовы Жуно, – ответил мэр. – Девятнадцать лет, девчонки называли его Лулу. Погиб седьмого февраля в Виль-сюр-Кузансе. Ты его знала?

– Нет.

– На Рождество он приезжал в отпуск, я видел его на всенощной. Красивый у него был голос.

Луиза взяла конверт и вышла, села на велосипед и помчалась через площадь Республики по прямой дороге на западную окраину, где находился дом вдовы Жуно. Она позвонила и передала ей конверт, а когда та вскрыла его указательным пальцем и растерянно просмотрела повестку, Луиза сказала:

– Вам не обязательно туда идти.

Потом она взяла женщину за локоть и провела в дом, села вместе с ней на диван и сказала, что её Лулу больше не вернётся, потому что он погиб на войне.

Луиза молча сидела на диване, когда женщина, рыдая, метнулась на пол и рвала на себе кудрявые волосы, и не сопротивлялась, когда женщина била её кулаками, а потом бросилась ей на шею, чтобы окончательно выплакаться, чего, наверное, не смогла бы сделать на груди у родственника или друга. Луиза протянула ей носовой платок, потом ещё один, а когда вдова Жуно более-менее успокоилась, Луиза закурила эту свою сигарету – будто они ей мёдом намазаны, – уложила вдову на подушку и пошла на кухню приготовить чай. Возвратившись с дымящейся чашкой, она сказала:

– Ну, я пойду. Не беспокойтесь о повестке, мадам Жуно. Я

скажу господину мэру, что вы не придёте.

Когда Луиза сообщила мэру, как она исполнила поручение, он сделал строгое лицо и сказал что-то насчёт превышения полномочий и нарушения служебной тайны; но был, конечно, страшно рад и от всего сердца благодарен, что в этот раз его избавили от неминуемой драмы.

А когда на следующий день на очереди лежали две такие повестки, он не дал Луизе никаких напутствий, а наоборот, сам, не дожидаясь вопросов, сообщил ей все сведения, необходимые для выполнения её новой миссии.

– Вот этого звали Себастьян, – сказал мэр, передавая конверт и глядя в потолок, чтобы не видеть вырез её блузки, когда она наклонилась. – Он был младшим сыном крестьянина Петитпьера. Погиб шестнадцатого апреля на подступе к Дамлу. Славный парень, хорошо разбирался в лошадях, у него ещё была заячья губа.

– А второй?

– Нотариус Дёлякруа. Пятидесятилетний, бездетный, родителей больше нет. Осталась только жена. А сейчас беги, моя маленькая Луиза. Давай поторапливайся.

Отныне близкие родственники уже не должны были являться в ратушу. Луиза только завозила повестку домой – и люди уже знали, какая стряслась беда, и первую волну горя могли излить сразу, пока она тихим ангелом смерти сидела на диване. Часто бывало, что назавтра или через день родные посылали за Луизой, чтобы точно узнать об обстоятельствах гибели; тогда она приезжала во второй раз и рассказывала всё, что сообщалось официально: когда, где именно и при каких обстоятельствах Давид, Седрик или Филипп лишились жизни; погибли ли они в муках или лёгкой смертью; и наконец, самый важный из всех вопросов, упокоилось ли его тело в земле или – разорванное, обожжённое, гниющее – размётано где-то в грязи воронью на съедение.

Луиза могла сообщить мало чего утешительного, а фальшиво щадить родных не хотела и всегда рассказывала неприкрашенную правду, зная, что только она не боится времени. Луиза относилась к своей задаче очень серьёзно, и жители платили ей за это сердечной симпатией. Они привыкли к зловещему скрипу её ржавого велосипеда, замирали, заслышав его, и были рады, когда он стихал вдали, а не обрывался внезапно перед их домом.

Некоторые почитали Луизу как святую. Но она об этом ничего не хотела знать. Чтобы разрушить нимб, который на неё норовили насадить, она курила свои сигареты, что были ей слаще сахара, купалась по воскресеньям полуголая в канале и

пользовалась целым арсеналом вульгарных ругательств и проклятий, которые своеобразно контрастировали с её изящной фигуркой, звонким голосом и утончённым французским.

Плохо было то, что новости о смерти солдата часто прибывали в Сен-Люк задолго до министерского оглашения: к примеру, если солдат в отпуске с фронта рассказывал за кухонным столом, что учитель Жаке на расстоянии вытянутой руки от него, с раскроенным черепом, утоп в грязной жиже бомбовой воронки. Эта новость со скоростью молнии летела из дома в дом, добираясь до всех кухонных столов городка, кроме одного – того, за который учителю Жаке больше никогда не вернуться; поскольку распространение слухов было запрещено под угрозой наказания, а известия о смерти, во избежание трагических ошибок и недоразумений, должны были доходить до близких родственников погибшего не иначе как в служебном порядке. Вот так и получалось, что вдова учителя Жаке, не подозревая, что она вдова, в предвкушении отпуска своего супруга покупала на рынке большой кусок говядины, а другие женщины поглядывали на неё с пугливым сочувствием, а после, чтобы не вызвать подозрений, непринуждённо здоровались.

С того момента, как Луиза переняла служебные полномочия, разрешилась и эта проблема. «Расскажи про это маленькой Луизе!» – говорили люди солдату, приносившему домой плохую весть; и когда потом Луиза на своём скрипучем велосипеде подъезжала к двери ничего не ведающей вдовы, та сразу понимала, что теперь ей долго не придётся покупать большой кусок говядины.

Тем вечером, когда хозяин кафе всё это рассказал Леону Лё Галлю, тот возвращался домой в очень задумчивом настроении. Стояла первая тёплая ночь в году, и за Сен-Квентином можно было увидеть зарево фронта, а когда ветер дул с северо-востока, слышались и отдалённые раскаты. Леон расстегнул куртку и снял шапку. Он наблюдал за игрой своей собственной тени, которая каждый раз, когда он проходил под уличным фонарём, падала ему под ноги коротко и резко, а потом постепенно удлинялась и блекла в нарастающем свете следующего фонаря, потом вновь падала под ноги и снова светлела и выцветала. Он снял свой форменный пиджак и перекинул его через плечо, было слишком тепло для этого времени года; он с удивлением отметил, что за последние пять недель и три дня ему ни разу не пришло в голову перед вечерней прогулкой снять форму с дурацкими сержантскими лычками.

Здание станции в конце платановой аллеи было тёмным, даже на верхнем этаже не горел свет; Леон представил, как

старый Бартельми, прильнув к утешительному теплу своей Жозианны, спит под толстым пуховым одеялом до самого начала нового рабочего дня. Он прошёл через Вокзальноую площадь к пакгаузу, поднялся по скрипучей лестнице; тишина в его комнате звенела эхом воспоминаний прошедшего дня.

Он думал о том, что завтра ему предстоит, как и во все последующие дни, встречать приходящие поезда красным сигнальным флажком. Он вспомнил о своей хитрости с телеграфом, о страхе перед скрипучими балками, и о немногословном вечере за стойкой в кафе «Дю Коммерс», и пришёл к заключению, что всё, что он делал в своей жизни, не было хорошо; ничего плохого он тоже не сделал, всё-таки он никому не причинил заметного вреда, никого не обидел, да и ничего такого, за что ему было бы стыдно перед родителями, он тоже не сделал; но, по правде говоря, ничего из того, что он делал изо дня в день, не было действительно важным, хорошим или красивым. И уж точно для гордости у него не было никакого повода.

Леон не знал, сколько проспал к тому моменту, когда начал различать сквозь сон гул голосов. Голоса слышались через окно, которое Леон из-за тёплой ночи оставил открытым, и сопровождались необычной вонью – смесью отвратительных запахов, происхождение которых Леон не мог объяснить. Он поднялся и посмотрел вниз на пути: в скудном свете газового фонаря стоял бесконечно длинный поезд из товарных вагонов и вагонов для скота, а на перроне старый Бартельми и мадам Жозианна поспешно переходили от одного вагона к другому. Босоногий, в одних штанах, Леон спустился по лестнице.

Поезд был таким длинным, что казалось, у него нет ни начала, ни конца. Некоторые вагоны были закрытыми, некоторые стояли распахнутыми настежь, но из каждого разило этой ужасной вонью гноя и экскрементов, из каждого вагона раздавались мужские голоса, которые со стонами и криками молили о воде.

– Мальчик, что ты здесь делаешь?! – воскликнула мадам Жозианна, разливая солдатам воду из большого кувшина. Солдаты лежали и сидели в соломе на голых досках, их лица были мокрыми от пота и блестели в свете газового фонаря, форма была грязной, а повязки пропитаны кровью.

– Мадам Жозианна…

– Иди спать, мой хороший, это не для твоих глаз.

– Что происходит?

– Это поезд с ранеными, мой ангел, здесь только раненые. Бедных ребят везут на юг, в госпитали Да, Бордо, Лурда и Пау,

чтобы они скорее там поправились.

– Могу я чем-то помочь?

– Это мило с твоей стороны, золотце моё, но лучше уйди. Беги!

– Я мог бы принести воды.

– Не надо, мы-то уже привычные с твоим начальником. А вам, молодым, не нужно на это смотреть.

– Мадам Жозианна…

– Иди к себе в комнату, мой хороший, сейчас же! И закрой окно, слышишь?

Леон хотел было возразить и стал оглядываться в поисках Бартельми, но тот, едва заслышав, что его Жозианна повысила голос, уже спешил сюда. Он просверлил Леона строгим взглядом и надул губы так, что щетина его усов встопорщилась горизонтально, указал вытянутой рукой на пакгауз и прошипел:

– Делай, что мадам говорит! Шагом марш!

На этом Леон сдался и пошёл к себе в комнату, но, вопреки указаниям Жозианны, оставил окно открытым. Он стоял в тени за занавеской и наблюдал за тем, что происходило на перроне; когда поезд тронулся, он упал на кровать. Он был в таком изнеможении, что заснул до того, как ночной ветер окончательно унёс с перрона вонь.

По воле случая на следующее утро, незадолго до начала работы, когда он шёл от пакгауза к зданию станции, по аллее под торопливый скрип ехала маленькая Луиза. Платаны были влажные от росы и блестели в свете раннего солнца, в воздухе стоял запах высокой травы и нагретой солнцем железнодорожной щебёнки. На вокзальной площади Луиза так нажала на педальный тормоз, что щёбенка захрустела и запылила под колёсами. Она поставила велосипед под навес и взбежала по лестнице в кассовый зал. Леон так и побежал бы за ней, но у него были срочные служебные дела: забрать свой красный флажок из кабинета и точно к прибытию пассажирского поезда в восемь часов семь минут стоять на перроне.

Когда поезд прибыл, из здания станции вышел единственный пассажир – Луиза. Он с облегчением отметил, что в правой руке у неё только билет, но никакого багажа; значит, уезжает ненадолго. Неприятным было то, что она как назло помахала ему в тот момент, когда он должен был махать красным флажком прибывающему поезду.

– Привет, Леон! – крикнула она, семеня рядом с замедляющимся поездом и открывая дверь вагона третьего класса.

Так, подумал Леон, она знает моё имя. Разве он накануне в

кафе «Дю Коммерс» представился ей по имени? Нет, не представился. Конечно, должен был, поскольку это входит в самые элементарные правила приличия, но не представился. Значит, она как-то узнала его имя – может быть, даже спрашивала у кого-нибудь. Так, так. И потом за ночь она не забыла его имя, а наоборот, хорошо запомнила. А сейчас она своим ротиком, своими губами, своими белыми зубками произнесла его имя, дыханием своих лёгких выдохнула его имя на белый свет. Так, так, так.

– Привет, Луиза! – крикнул он, когда к нему вернулось самообладание, а она как раз запрыгивала на подножку остановившегося поезда. Леон стоял в шипящих клубах пара и выжидал минуту, после которой, согласно расписанию, должен был подать машинисту сигнал трогаться; потом поезд покатился, а Леон бежал, вытянув шею, вдоль окон, навстречу той двери, за которой исчезла Луиза. Но поскольку перрон был низко, а окна высоко, он не мог видеть пассажиров, сидящих на скамьях лицом друг к другу, а потом поезд уехал, и Луиза с ним.

Леон смотрел на красные задние огни, пока они не скрылись за кирпичным заводом, и ещё долго не сводил глаз с паровозного дыма. Потом вернулся со своим красным флажком в кабинет, где мадам Жозианна уже приготовила ему кофе с молоком и два бутерброда.

Когда в обеденный перерыв он вышел на Вокзальную площадь, он увидел велосипед Луизы, стоящий под навесом. Он оглянулся – не видит ли кто, – подошёл поближе, и осмотрел транспортное средство. Это был обычный старый мужской велосипед, некогда чёрного цвета, с заржавевшим зубчатым венцом, провисшей цепью и лысыми шинами, втулка была сломана, а защитный кожух цепи помят. Он осторожно положил ладони на выцветшие, в трещинах кожаные ручки на руле, крепко стиснул их, а потом приложил обе ладошки к носу, чтобы ощутить дуновение Луизиного аромата; но почувствовал лишь запах кожи и собственных рук.

Он присел на корточки, изучил кожух цепи и заключил, что именно он должен быть причиной скрипа. Он попробовал выправить помятую часть большими пальцами, но ничего не получилось, так как мешал зубчатый венец. Тогда он принёс из мастерской два гаечных ключа и молоток, снял кожух и выровнял вмятину молотком на деревянной стене пакгауза. Потом смазал ржавую цепь, привинтил кожух обратно и для испытания проехал круг по вокзальной площади.

Когда Леон после ужина собирался на привычный выход в город, на нём были длинные штаны, белая рубашка и серая

вязаная кофта, которую мать вязала ему бессонными ночами перед его отъездом. На закате солнечного дня он пересёк Вокзальную площадь, свернул в платановую аллею и увидел, что кто-то стоит у пятого дерева с правой стороны. Облокотившись о платан, она стояла в своей блузке в красный горошек и синей школьной юбке. Её левая ладонь лежала на сгибе правого локтя, а в правой она держала тлеющую сигарету. Высоко вздёрнув правую бровь на гладкий лоб, а левую опустив к сощуренному левому глазу. Неужели этот пристальный взгляд относился к нему?

– Привет, Луиза! Не меня ли ты ждала?

– Я никогда никого не жду, а тем более такого, как ты, – она сделала глубокую затяжку. – С тебя в конце жизни вычтется время, которое ты украл у меня.

– Несколько минут будут представлять для меня огромную ценность.

– Мой велосипед больше не скрипит, – сказала она.

– Очень рад это слышать.

– Тебя кто-нибудь просил чинить мой велосипед?

– Что-то нужно было сделать, – ответил он. – Местные жители жаловались.

– Да что ты?

– Ты мешаешь их детям спать после обеда.

– Ах, так?

– И у коров молоко в вымени киснет.

– Поэтому местные жители обратились за помощью к телеграфисту со станции Сен-Люк?

– Я не мог отказать.

– Что ж, тогда местные жители должны быть благодарны телеграфисту.

– Я так полагаю.

– А я?

– Что?

– Я тоже должна быть тебе благодарна?

– Нет, за что?

– Ну, ты же мне сделал что-то хорошее?

– Ах, ну не за эту же мелочь.

– Что ты за это хочешь – показать мне созвездия на небе?

– Я их не знаю.

– Показать мне коллекцию марок?

– У меня нет коллекции марок.

– Что же ты тогда хочешь?

– Я просто выправил железку.

– И за это ты хочешь лапать меня за задницу?

– Нет. Но я могу и погнуть железяку обратно.

– Я считаю, что так и нужно сделать.

– Тебе нравится скрип?

– Не мне, людям. Они больше не услышат, когда я подъеду. А если я появлюсь внезапно, они испугаются.

– Я прикручу тебе на руль звонок, тогда люди снова смогут тебя слышать. Можно, я тебя немного провожу?

– Нет.

– Куда ты идёшь: туда или сюда?

– Ты-то в любом случае идёшь в «Коммерс».

– Да.

– Как и каждый вечер.

– Точно.

– Какой оседлый железнодорожник: от макушки до пят.

– Куда ты, к слову сказать, ездила сегодня на поезде?

– Не твоё собачье дело. Ты в любом случае идёшь в «Коммерс». Мне по пути. Оставь свой велосипед здесь, я немного пройдусь с тобой.

На следующий вечер к закату солнца Луиза вновь ждала Леона у пятого платана, через день опять, так же, как и через два дня. На путь в пару сотен метров у них уходило по часу и больше, поскольку шли они медленно, часто останавливались, без причины переходили на другую сторону улицы, а то и возвращались немого назад, и при этом говорили без умолку. Они говорили о мелочах и пустяках: о сигарах мэра, о почтальоне, который якобы был внебрачным сводным братом мэра, о вокзале и о познаниях Леона в современной технике связи, о старом Бартельми и его безрассудной любви к Жозианне, о злой собаке, которая сидела на цепи перед слесарной мастерской и пугала школьников, о вкусных шоколадных эклерах в католической булочной, о вдове Жуно, которая ездит к своей сестре в Компьень именно в те дни, когда и священник едет в Компьень на пастырскую миссию; они говорили о песчаном карьере за вокзалом, в котором можно найти окаменелые зубы акулы периода миоцена, о чёрной Мадонне в церкви и о лесочке рядом с федеральной дорогой, в котором скоро должны были поспеть вишни, а ещё они говорили о романах Колетт, которые Луиза прочитала все до одного, а Леон, правда, нет.

Начиная с третьего вечера, Луиза рассказывала о своей работе ангелом смерти. Леон молчал, глядя на верхушки деревьев, и слушал. Потом он рассказывал о Шербурге, о канале, об островах и красочном парусном ялике, Луиза молчала, внимательно смотрела ему в лицо и притворялась, что слушает.

Но когда он однажды хотел спросить её, откуда она родом,

она перебила его и сказала:

– Никаких вопросов. Я ни о чём тебя не спрашиваю, и ты не спрашивай меня.

– Согласен, – ответил Леон.

Когда они разговаривали, Леон держал руки в карманах и играл маленькими гальками в футбол. Луиза курила одну сигарету за другой, жестикулировала и то и дело то уходила от него, то возвращалась, чтобы проверить, понимает и одобряет ли он то, что она сказала. Леон понимал и одобрял всё, что она ему говорила – просто потому, что это говорила она.

Он находил её улыбку красивой, потому что это была её улыбка, он любил её ободряющий пытливый взгляд, потому что именно её зелёные глаза смотрели на него, как будто спрашивая: «Скажи мне, ты ли это? Это правда ты?» Его пленяли выбившиеся прядки на её лбу, потому что это были её прядки, он смеялся над её пантомимами, когда она изображала мэра, закуривающего сигару, потому что это были её пантомимы.

Уже во время первой прогулки они заметили, что жители городка поглядывают на них из-за своих занавесок, и поэтому держались на виду и говорили особенно громко и чётко, чтобы каждый, кто хочет, мог услышать, о чём идёт их разговор. Дойдя до кафе «Дю Коммерс», они ещё немного стояли, а потом прощались без поцелуев или рукопожатий.

– До свиданья, Луиза.

– До свиданья, Леон.

– До завтра.

– До завтра.

Потом она исчезала за углом, а он заходил в кафе и заказывал стакан бордо.

ГЛАВА 5

На троицу 1918 года у Леона впервые было два выходных дня подряд. Вопреки обыкновению он проснулся очень рано и наблюдал, как ночная темнота за окном уступает вялому утреннему свету, а потом сиянию восходящего солнца. Он умылся у источника на задах пакгауза потом снова улёгся в постель, слушал пение дроздов и скрип балок и ждал, когда, наконец, наступит восемь часов – время идти в контору и пить кофе с молоком под чрезмернонежной опекой мадам Жозианны.

После завтрака он поехал на велосипеде в город. Прошедшая ночью гроза растрепала кукурузные поля, сорвала с платанов последние сухие прошлогодние листья и наполнила каналы и придорожные кюветы дождевой водой. Леон сделал круг по воскреснотихому городу с его блестящими крышами, мокрыми улицами и бурлящими шахтами канализации. Мягкий летний ветер доносил аромат цветущих кустов жасмина из садов в переулках, а солнце уже взялось всё просушивать перед тем, как горожане, жмурясь, выйдут из своих домов и отправятся на воскресную мессу.

На площади Республики Леон остановился, прислонил велосипед к афишной тумбе и сел на полусухую скамью. Ему не пришлось долго ждать. Несколько голубей осторожно приблизились к нему, дёргая головами, потоптались вокруг, и, не получив от него хлебных крошек, снова засеменили прочь. Где-то вопила влюблённая кошка. Старик в бордовом халате и тапочках в коричнево-жёлтую клетку прошмыгнул мимо с багетом под мышкой и скрылся в переулке между ратушей и сберегательной кассой. Облако заслонило и снова приоткрыло солнце. Тут за спиной Леона раздалось: – дзинь-дзинь, дзинь-дзинь! – велосипедный звонок разорвал утреннюю тишину, и секунду спустя перед ним стояла Луиза.

– У меня теперь звонок на велосипеде, – сказала она. – Я тебе что-нибудь должна за него?

– Ну что ты.

– Я тебя об этом не просила. И всё равно большое спасибо. Когда ты это сделал?

– Вчера вечером, после пивной.

– Значит, у тебя случайно оказался с собой звонок и отвёртка.

– И подходящий гаечный ключ.

Луиза тоже прислонила свой велосипед к афишной тумбе, села рядом с ним на скамью и закурила сигарету.

– А что это у тебя опять такое странное на багажнике?

– Четыре шерстяных одеяла и котелок, – сказал Леон. И сумка с хлебом и сыром.

– Снова нашёл на дороге?

– Еду на море, – сказал он. – Сегодня туда, завтра обратно.

– Просто так?

– Опять хочу увидеть океан. Восемьдесят километров, через пять часов я там.

– А потом?

– Погуляю по утёсам, пособираю на пляже всякую дрянь и найду себе сухое местечко для ночлега.

– И для этого тебе нужны четыре одеяла?

– Хватило бы двух.

– Мне тоже поехать?

– Было бы хорошо.

– Если я поеду, ты ко мне полезешь.

– Нет, – сказал он.

– За кого ты меня держишь, за идиотку? Любой мужчина полезет к девушке, если останется с ней в дюнах.

– Это верно, – согласился Леон. – Но я не буду это делать.

– Ах, нет?

– Нет. Хотеть и делать – это не одно и то же. – Леон встал и пошёл к своему велосипеду. – Кстати, в Ле Трепоре нет дюн.

– Ах, нет? – Луиза засмеялась.

– Только скалы. И галечный пляж. Серьёзно, я не буду этого делать. Пока ты сама не начнёшь.

– Честно?

– Клянусь.

– На сколько обычно хватает твоей клятвы?

– На всю мою жизнь. Я серьёзно говорю.

Луиза наморщила лоб и надула губы, потом выдохнула носом.

– Погоди минуту. Я сбегаю за сигаретами.

Они дружно выехали из города и поехали на запад в сторону океана по широкой, прямой и пустой дороге через восхитительные луга Верхней Нормандии, которая с незапамятных времён столь щедро одаряет своих жителей всем необходимым. Небо было высоким, а горизонт лежал далеко впереди, и слева и справа пролетали блёкло-зелёные военные поля пшеницы, которые росли реденько и неравномерно, как юношеская щетина, потому что засеяны были неопытными женскими и детскими руками; потом на холмогорье, вдали от деревень, попадались покатые, годами непаханые земли, которые уже начали зарастать березняком.

Луиза ехала быстро, а Леон легко поспевал за ней, потому

что был свеж и полон сил. Они смотрели вперёд на дорогу, их ноги равномерно крутили педали, а поскольку их мысли были заняты тем, как ехать, где повернуть и куда прибыть, разговаривали они мало; они были счастливы. Время от времени он поглядывал на Луизу краем глаза, а она делала вид, что не замечает этого. Однажды они на полном ходу взялись за руки и ехали плечом к плечу, а потом она просто так от радости зазвонила в свой велосипедный звонок.

Уже в половине третьего они неожиданно и раньше, чем планировалось, добрались до места. Океан не известил их заранее о своей близости – воздух не стал солонее, небо просторнее, растительность скуднее, а почва песчанее; просто в какой-то момент нормандский ландшафт с тучными пашнями и сочными лугами резко оборвался и в сотне метров ниже, у подножия меловых скал нашёл своё продолжение в сером прибое Северного моря. Они проехали мимо канадского военного госпиталя, размещённого в целом море белых палаток на скалах, потом вдоль реки въехали в Ле Трепор.

Раньше это местечко было рыбацкой деревней. С тех пор, как сюда протянулась железная дорога из столицы, местные жители стали наниматься в обслугу к парижским курортникам, которые понастроили у подножия скал роскошных особняков с видом на море. Леон и Луиза поставили свои велосипеды у набережной Франсуа Первого и пошли прогуляться вдоль порта. Они разглядывали рыбаков в лодках, которые с погасшими окурками в уголке рта приводили в порядок сети своими грубыми руками, чинили паруса, сворачивали в бухту канаты и чистили палубы; окидывали взглядом отдыхающих в их розовых туфельках и блестящих гамашах, в их белых матросских костюмах и просвечивающих льняных юбках, в их панамах, искусно блондированных косах и с их выставленным напоказ парижским произношением. Внезапно Леон почувствовал, что Луиза взяла его под руку; этого она никогда прежде не делала.

– Посмотри на эти сахарные жопоморды с их зонтиками от солнца, – сказала она. – Если ты когда-нибудь увидишь меня с таким зонтиком, сразу пристрели.

– Нет.

– Это приказ.

– Нет.

– Мне больше некого попросить.

– Ну, ладно.

Потом они снова шли молча, будто были давно обжившейся парой, которой больше ничего не нужно доказывать. Ещё когда они ехали на своих велосипедах и давили на педали, они были

свободны и естественны, потому что их цель ещё лежала в будущем и настоящее не было важным; теперь же отговорок и препятствий больше не существовало – и считалось то, что было. Но и сейчас, когда они гуляли по пристани, между ними не было осторожности и неловкости, была лишь трудность выразиться словами.

Что касается Леона, то ему хватало уже одного ощущения тепла её ладони на сгибе своего локтя, чтобы быть безмятежно счастливым. Впервые в жизни он так близко гулял рядом с девушкой; немного склонив голову, он мог вдохнуть аромат её нагретых солнцем волос, это было уже почти слишком – больше, чем он мог вынести.

Они шли по портовому молу в сторону маяка, который обозначал вход в гавань, сели там на парапет и разглядывали входящие и уходящие корабли и парусные лодки. Когда солнце склонилось к океану, они вернулись в городок, поднялись по улице де Пари и осмотрели церковь Сен-Жак, символ города.

Прямо у входа справа была статуя мадонны, перед которой они надолго остановились; то была простенькая гипсовая фигура с плоским лицом, с раскрашенными щеками и чёрными глазами-пуговками. Её одеяние состояло из синего, расшитого золотом бархата, и всё было покрыто записочками, многократно сложенными или свёрнутыми в трубочку. Они были приколоты к платью булавками или воткнуты между пальцами или всунуты под головной покров богоматери, записочки лежали на её нимбе и на её стопах, и даже в её губах и в ушах торчали записочки всех размеров и цветов.

– Что это за бумажки? – спросила Луиза.

– Жёны моряков просят богоматерь защитить их мужей, – сказал Леон. – У нас дома так же. Они рисуют на записочке свою рыбацкую лодку и надеются, что под защитой святой девы она вернётся невредимой. Другие заворачивают в бумажку прядку волос своего чахоточного ребёнка и просят деву дать ему здоровье. А в последнее время пошли в ход фотографии солдат.

– Давай заглянем в парочку?

– Это приносит несчастье, – сказал Леон. – Корабль утонет. Ребёнок умрёт. Солдата разорвёт гранатой. А у тебя отсохнут пальцы, если ты притронешься хоть к одной записке.

– Тогда не будем. Пойдём?

– Погоди ещё минутку. – Леон достал из нагрудного кармана карандаш и блокнот.

– Тоже пишешь записку? – Луиза засмеялась. – Как жена моряка?

Леон вырвал из блокнота листок, свернул его в трубочку и

сунул богоматери под правую подмышку.

– Пошли, скоро отлив. Я наберу нам на ужин мидий на скалах.

В бакалее на улице де Пари Леон купил два багета, а также морковь, порей, лук, тимьян и бутылку белого сухого вина, потом они забрали свои велосипеды и повели их в закатных лучах вниз к казино; оттуда широкий пешеходный настил из дубовых досок вёл по галечному пляжу мимо длинного ряда выкрашенных белой краской пляжных домиков. За ними возвышались гордые виллы с верандами по всему периметру и белыми гардинами, которые легко и бесшумно надувались от морского бриза, потом опадали и снова надувались, как будто дышали.

Леон ещё от маяка приметил, что далеко за виллами, в скалах на южном конце пляжа, морем нанесло много плавника; он хотел использовать его для костра. Стало холодно, последние купальщики вернулись домой, чтобы смыть с себя морскую соль и принарядиться к ужину. Леон и Луиза нашли у подножия меловых скал между двумя каменными глыбами сухое, защищённое от ветра местечко. Они убрали гальку, добравшись до песка, потом расстелили одеяло, и Леон развёл костёр из сухих водорослей и плавника. Луиза в это время сидела на одеяле, обняв колени, и смотрела вдаль на оранжево-лиловую игру волн океана, как будто то был сказочный спектакль.

– Давай насобираем мидий, – сказал он, закатал свои брюки выше колен и взял с велосипеда котелок. – Они должны быть вон там, в скалах, где чайки стоят на мелководье. Туристы их никогда не собирают, они их лучше в лавке купят. Там и креветки могут быть, но без сети нам их не словить.

Чайки сердито кричали и, недовольно расправив крылья, делали несколько прыжков и поднимались в два-три взмаха в воздух, давали подхватить себя восходящему потоку воздуха и парили вдоль скалистой стены вверх до зелёных лугов, чтобы тут же войти в пике, угрожающе устремив вниз свои острые клювы, перед самой землёй перейти к скользящему полёту и снова взмыть вверх.

В лужах, оставшихся после отлива, было достаточно мидий, котелок быстро наполнился. Леон достал из сумки два ножа и показал Луизе, как соскребать с ракушек водоросли и наросты. Потом они вернулись назад в своё укрытие между каменными глыбами. Он упал на одеяло и вздохнул; этот день был прекрасным, его счастье было совершенным. Луиза, однако, осталась стоять, нерешительно сделала пару шагов туда и сюда и закурила.

– Иди сюда, устраивайся, – сказал он. – Я тебе ничего не

сделаю.

– Смотри лучше, как бы я тебе чего не сделала.

– Тебе холодно?

– Нет.

– Хочешь, ещё что-нибудь придумаем, пока не стемнело? Можем прогуляться наверх на утёсы?

– Я есть хочу.

– Я сейчас приготовлю.

– Может, мне что-нибудь купить?

– У нас всё есть, – сказал Леон. – Мне осталось только нарезать морковку, лук и чеснок, и за несколько минут всё сварится.

– Может, мне сбегать за чем-нибудь сладким на десерт? Два шоколадных эклера?

– Время полдесятого, – сказал Леон. – Вряд ли кондитерская ещё открыта.

– Я попытаю счастья.

Через полчаса она вернулась. За это время Земля уже повернулась в темноту. На небе мигали первые звёзды, луна ещё не взошла. Пара чёрных тучек так низко дрейфовала над бухтой, что по ним пробегал луч маяка.

Леон снял котелок с огня. Он слышал за спиной шорох гальки и шаги Луизы. Но не повернулся на звук.

– Еда готова. А как насчёт эклеров?

Она промолчала.

Леон помешал варево в котелке, выудил обрывок водоросли и пустые створки мидии. Её шаги замедлились и стихли. Потом он почувствовал, как Луиза подошла к нему сзади и положила ладони ему на плечи. Её волосы скользнули по его шее, дыхание коснулось его правого уха.

– Ты обвёл меня вокруг пальца. – Её правая рука спустилась с плеча, просунулась ему под мышку и цапнула его за нос. – Ты нарочно всё это затеял и провёл меня как циркового медведя.

– У тебя сегодня ночью отсохнут пальцы.

– Это правда, что написано в записочке?

– Абсолютно. И навсегда.

Леон высвободил свой нос из пальцев Луизы, повернулся и посмотрел ей в зелёные глаза, которые светились в отблесках костра. И потом они поцеловались.

ГЛАВА 6

Леон не мог знать, что в то самое мгновение, когда он проснулся от противотуманного гудка парохода, полмиллиона измождённых немецких солдат шнуровали свои ботинки, чтобы идти в последнюю атаку на Париж; может быть, останься он тихо лежать рядом с Луизой, не трогаясь никуда с пляжа, всё пошло бы по-другому. Воздух был сырым и холодным, небо пасмурным и мглистым. Прилив пришёл и схлынул, каменистый пляж мокро блестел; на ворсинках шерстяных одеял висели капельки росы. За бурунами прибоя из воды торчали рангоуты разбитого судна.

Леон взглянул вверх, на меловые скалы, в которых чайки сидели в гнёздах, согревая клювы в оперении, и выше – до самой полоски травы, над которой ветер гнал свинцовые дождевые тучи. До тех пор, пока там не покажется согревающее полуденное солнце, здесь внизу, на пляже, будет холодно и сыро. Чем дольше он смотрел вверх, тем отчётливее ему мерещилось, что не тучи над ним летят, а он сам вместе с пляжем и скалами несётся куда-то под тучами.

Леон оперся на локоть и стал разглядывать очертания тонкой фигурки Луизы, которая в такт прибою поднималась и опускалась под одеялом. Её чёрные запутанные волосы походили на кошачью шерсть. Он отодвинулся от неё и встал, чтобы собрать плавника и снова развести костёр. Когда пламя поднялось ввысь, он отправился по пляжу вдоль линии прилива в поисках предметов, которые море могло принести за ночь. На восточном конце пляжа он нашёл красно-белый буёк, а на обратном пути планку двухметровой длины и четыре раковины с гребешками. Всё это он положил у костра. Поскольку Луиза всё ещё спала, он пошёл вниз к морю и разделся до трусов.

Вода была холодная. Он брёл по ней, потом нырнул в набежавшую волну и сделал несколько гребков. Почувствовав соль на губах и привычное жжение в глазах, он перевернулся на спину и предался мягкому покачиванию на волнах, погрузив уши под воду, в то время как вдоль хребта *Chemin des Dames* над окопами впервые после многих месяцев снова полз сладковато-прелый банановый запах фосгена, превращаясь в лёгочных альвеолах солдат в соляную кислоту, и десятки тысяч молодых мужчин буквально выблёвывали свои лёгкие наружу, а те, кто выжил, и кого не разорвала на куски артиллерия, со слепыми, жутко вывернутыми глазами бежали в сторону Парижа, а их отравленная и обожжённая кожа кусками отваливалась с лиц и ладоней.

Леон качался на волнах, наслаждаясь невесомостью, и смотрел в небо, на котором всё ещё висели тяжёлые чёрные тучи. Через некоторое время он услышал свист – то была Луиза, она уже проснулась и махала ему рукой. Он пустился к берегу с попутной волной, натянул на мокрое тело штаны и рубашку и сел с ней рядом к костру. Луиза нарезала ломтями хлеб, оставшийся с ужина, и поджарила его на углях.

– Ночью ты немножко храпел, – сказала она.

– А ты во сне шептала моё имя, – сказал он.

– Врун из тебя никудышный, – сказала она. – Вот кофе бы сейчас не помешал.

– Дождь начинается.

– Это не дождь, – сказала она. – Это всего лишь тучка, которая пролетает слишком низко.

– Эта тучка нас вымочит, если мы останемся здесь.

Луиза скатала одеяла, пока Леон чистил песком котелок, и они повели свои велосипеды обратно в город. В порту было бистро, которое уже открыли, и которое называлось – как и постоянная пивная Леона – *Кафе Дю Коммерс*. У стойки стояли четверо небритых мужчин в помятых полотняных костюмах, прихлёбывая кофе из чашек и старательно не замечая друг друга. Леон и Луиза сели за стол у окна и заказали кофе с молоком.

– О, мы попали в дурную компанию, – Луиза указала своим надкушенным круассаном в сторону стойки. – Ты только погляди на этих придурков.

– Эти придурки могут тебя услышать.

– Ну и пусть. Чем громче мы говорим, тем меньше они будут верить, что мы говорим о них. Это типичные парижские придурки. Мелкие парижские придурки первого сорта, все четверо.

– Ты разбираешься в их сортах?

– Вон тот в синих солнечных очках, который прячет свою физиономию под шляпой, считает себя знаменитостью не меньше, чем Карузо или Золя, притом, что зовут его Фурнье или вроде того. А тот, что с усами и читает биржевые ведомости, озабоченно наморщив лоб, – этот мнит себя Рокфеллером, потому что у него есть три акции железной дороги.

– А остальные двое?

– Те просто их высокоблагородия Придурки, которые ни с кем не здороваются и ни с кем не разговаривают, чтобы никто не просёк, какие они скучные.

– Бывает же и так, что вскучнётся, – возразил Леон. – Я тоже иногда скучаю. А ты нет?

– Это совсем другое. Если ты скучаешь или я, то в надежде,

что это когда-то изменится. А те скучают, потому что всегда хотят, чтобы всё оставалось как есть.

– А по мне, так все четверо выглядят как совершенно нормальные отцы семейств. Они вырвались из дома под предлогом, что сбегают в булочную. И теперь наслаждаются четвертью часа свободы и мира, пока не вернутся в свои виллы к требовательным жёнам и к назойливым детям.

– Ты так думаешь?

– Тот, что в синих очках, всю ночь ругался с женой, потому что она его больше не любит, а он не хочет об этом знать. А тот, что с газетой, боится бесконечно длинных послеобеденных часов на пляже, когда он должен играть со своими детьми, но понятия не имеет, во что.

– Пошли лучше к рыбакам, – предложила Луиза. – В рыбацкую пивную.

– Но мы же не рыбаки.

– Ну и пусть.

– Нам-то пусть, а рыбакам не всё равно. Они примут нас за парижских придурков. Уже за одно то, что мы не рыбаки. – Леон отодвинул штору и выглянул в окно. – Мокрая туча уже ушла.

– Тогда пошли, – сказала Луиза. – Поехали домой, Леон. Море мы уже увидели.

Пронизанные солнцем, ветром и дождевой моросью, свежим воздухом океана и бессонной ночью, Леон и Луиза пустились в обратный путь. Он вёл по тем же дорогам, через те же холмы, мимо тех же деревень, которые они уже видели накануне; они пили воду из тех же деревенских источников и покупали хлеб в тех же пекарнях. Их велосипеды надёжно жужжали, а скоро и солнце выглянуло – всё было в точности так, как вчера, но теперь во всём этом присутствовало волшебство. Небо было выше, воздух свежее, будущее лучезарнее, и Леону казалось, будто он впервые в жизни по-настоящему ожил, как будто он родился на свет полусонным и до сих пор влачил свои дни в полусне до этих самых выходных, когда он наконец-то очнулся. Его жизнь разделилась на две части: до Ле Трепора и после Ле Трепора.

В полдень они поели супа в сельской харчевне, потом сделали привал в стогу сена в стороне от дороги – и если всё, что происходило до сих пор, есть чистая легенда, то в этом месте истории, где они спали в стогу, вводится в действие предание моего деда, которым он охотно и часто угощал нас и много десятилетий спустя – как в конце мая 1918 года – он в первый и единственный раз очутился на большой войне. Он рассказывал свою историю всегда с очаровательной сдержанностью, с точностью в деталях, даже после многократного повторения и

достоверно, если не считать одного маленького, но очевидного для всех членов семьи привирания: что Луиза, по его версии, – из соображений стыдливости – была вовсе не Луизой, а его товарищем по работе Луи.

Итак, когда Леон и Луиза – она же Луи – проспав в стогу час, снова проснулись, они услышали приглушённую черепичной крышей навеса далёкую канонаду, которую они приняли за грозу. Они в спешке скатились со стога сена вниз, вывели свои велосипеды из-под крыши и поехали, одежда и волосы в сене, чтобы как можно дальше отъехать от надвигающейся грозы, в надежде, что она застигнет их разве что по прибытии в Сен-Люк.

Но, как оказалось, гром был вызван не атмосферными явлениями, а орудийным огнём немецкой артиллерии. Постепенно гром превратился в удары, потом воздух стало разрезать шипением, гудением и воем, а за лесочком поднялись первые столбы дыма. В панике оба неслись по просёлочной дороге, в то время как за ними, перед ними и сбоку от них поднимались столбы дыма, а потом они проехали мимо свежей, дымящейся бомбовой воронки, на краю которой рухнувшая яблоня задрала к небу свои обнажившиеся корни. В воздухе стоял едкий дым, никаких сторон света больше не существовало, а о том, чтобы свернуть или повернуть назад, нечего было и думать, потому что опасность исходила отовсюду и ниоткуда.

Они ехали всё быстрее и ещё быстрее, и земля под ними содрогалась, Луиза впереди, а Леон за её спиной, защищённый от ветра, а когда дистанция между ними увеличивалась и она вопросительно оглядывалась, он махал ей: езжай, езжай! – и поскольку она замедлялась и дожидалась его, он злился и кричал: «Да езжай же, чёрт возьми!» – после чего она решительно вставала на педали и уносилась вперёд.

Луиза как раз только что скрылась за холмом, как именно там поднялось облако взрыва. Леон закричал и ринулся в гору. Когда он достиг вершины холма, дорога перед ним взорвалась. Камни и обломки взлетели до верхушек деревьев, коричневая стена пыли разбегалась во все стороны. Потом появился военный самолёт, прострочил дорогу автоматной очередью и свернул в сторону, в то время как Леон на большой скорости и с двумя пулями в животе вслепую рухнул в кратер, где он потерял коренной зуб, сознание, а в последующие часы ещё и много крови.

ГЛАВА 7

Когда в полшестого вечера 17 сентября 1928 года Леон, как обычно, повесил свой лабораторный фартук в шкаф, взял шляпу и пальто и собрался домой, он ещё не знал, что в следующие минуты его жизнь кардинально изменится. Как и тысячу раз до этого, он шёл по набережной Орфевр вдоль Сены, привычно заглядывая в коробки букинистов, потом по мосту перешёл на левый берег к площади Сен-Мишель. Но на этот раз он вопреки обыкновению направился не в Латинский квартал и свернул не на улицу Дез Эколь, где он жил со своей женой Ивонной и четырёхлетним сыном Мишелем в доме номер 14 на пятом этаже в новой светлой трёхкомнатной квартире с паркетом в ёлочку и лепниной на потолке, прямо напротив коллежа дё Франс и Политехнической школы, – на этот раз, отклонясь от привычной дороги, он спустился в метро на площади Сен-Мишель и проехал две станции в направлении Порт д'Орлеан, чтобы купить клубничные пирожные в любимой кондитерской Ивонны. Во всех банках, бюро и универмагах столицы заканчивался рабочий день, и метро было наполнено тысячами мужчин, которые неотличимо походили на друг друга в своих чёрных или серых костюмах, белых рубашках и сдержанных галстуках; кто-то был в шляпе, большинство с усами, кто с тростью, кто в гамашах, и каждый шёл протоптанной дорожкой от личного письменного стола к личному кухонному, от него после личного ужина – в личное кресло с высокой спинкой, и наконец, в личную кровать, где того, кому повезло, всю ночь грела личная жена – пока он, побрившись и выпив кофе из личной чашки, вновь не отправлялся к личному письменному столу.

Леон давно перестал удивляться банальному абсурду ежедневного великого переселения народов. В первые годы, сражённый гравитацией столицы, он ещё тосковал по дому и с трудом выносил городскую ругань, агрессивную самовлюблённость парижан, шум автомобилей и вонь угольного отопления; каждый день он заново дивился, как он мог стать членом этой орды, изо дня в день бегущей по тротуарам, выставляя напоказ свои новые костюмы, орудуя локтями или подпирая стены, одни – лишь пару месяцев, а другие – в расчёте на полный срок в тридцать или сорок лет, одни – в убеждении, что мир только их и ждал, другие – в надежде, что мир ещё обратит на них внимание, а некоторые – с горьким осознанием того, что мир, со времён сотворения, ещё никогда никого не ждал.

В то время Леон чувствовал себя отрезанным от мира и заточённым в своих мыслях, для него было загадкой, как другие парни могут, причмокивая, хлебать суп, растить тщеславие в абсурдных профессиях, обмениваться глупыми шутками и ухаживать за крашеными блондинками, нимало не чувствуя себя оторванными от мира или заточёнными. Но потом появился на свет его первый сын Мишель и с первого дня во весь голос дал понять, что есть суп необходимо, поэтому некоторое честолюбие в абсурдной профессии не так уж бессмысленно, и что все трудности легче переносятся, если при случае глупо пошутить или приударить за крашеной блондинкой; к тому же отцовство влекло за собой много домашних обязанностей, и у Леона просто не оставалось времени чувствовать себя отрезанным от мира и заточённым в свои мысли, отчего большинство философских вопросов тут же драматически утратили свою неотложность.

Вместо этого он научился ценить нежность искренних улыбок и редкую роскошь сна без помех, а после первой весенней прогулки с женой и ребёнком в коляске по светящейся солнечной паутине Ботанического сада он настолько примирился с жизнью в большом городе, что теперь лишь изредка тосковал по пляжу Шербурга и только в редкие спокойные моменты мечтал снова спустить на воду старый парусный ялик и отправиться с друзьями Патрисом и Жоэлем в плавание по Ла-Маншу.

Но о Луизе он всё ещё думал каждый день. Леону было всего лишь двадцать восемь; десять лет прошло с тех пор, как он попал в бомбовую воронку на полпути между Ле Трепором и Сен-Люком. Он так и не узнал, сколько провалялся там, насквозь мокрый от долгого дождя, в грязи, обломках и собственной крови, то теряя сознание от боли, то от боли же приходя в себя, пока не пригромыхал с востока в вечерних сумерках светло-коричневый грузовик с красным крестом на белом фоне и не остановился у края воронки. Два санитара, говорившие на потешном французском и оказавшиеся канадцами, привычно подняли Леона из грязи, перевязали ему живот и уложили в кузов среди двенадцати раненых солдат.

– Подождите! – крикнул Леон и схватил санитара за рукав. – Там впереди есть ещё один.

– Где? – спросил солдат.

– На дороге. За пригорком.

– Мы только что оттуда. Там никого нет.

– Девушка, – Леон хрипел, ему трудно было говорить.

– Правда? Блондинка или брюнетка? Мне нравятся рыжие. Она случайно не рыжая?

– Она с велосипедом.

– А ноги красивые? А мордашка? Как она на лицо, камрад? Мне нравится молочная белизна мордашек у рыжих. Особенно когда они налево косятся.

– Её зовут Луиза.

– Как, ты говоришь, её зовут? Говори громче, дружище, я не могу разобрать.

– Луиза.

– Слушай, там не лежит никакой Луизы, я бы заметил. Луизу-то, чёрт подери, я бы точно заметил, не сомневайся. С такой-то мордашкой.

– И велосипеда нет?

– Какой велосипед – твой, что ли? Да вон он, камрад.

– Девушка ехала на велосипеде.

– Рыжая Луиза? С хитрой мордашкой?

Леон закрыл глаза и кивнул.

– Там за пригорком? Прости, там никого нет. Ни моськи, ни велосипеда.

– Пожалуйста, – прошептал Леон.

– Я тебе точно говорю, – сказал санитар.

– Я вас умоляю.

– Чёрт тебя подери. Ладно, я ещё раз гляну. – Солдат подал знак шофёру и пешком пошёл назад, за пригорок. Через пять минут вернулся:

– Я же сказал, никого.

– Правда никого?

– Сломанный велосипед. – Солдат засмеялся, открывая пассажирскую дверцу. – А больше ни моськи, ни письки. Увы.

И грузовик, у которого, казалось, не было ни рессор, ни муфты сцепления, пустился в бесконечный путь назад в Ле Трепор в канадский военный госпиталь. Два санитара одного за другим перенесли свои тринадцать находок в экстренный приёмный покой, а немного спустя в операционной палатке молчаливый врач, перепачканный кровью, быстрыми размашистыми разрезами под «веселящим» газом вынул из Леона две пулемётные пули и зашил ему живот такими же быстрыми, размашистыми стежками. Как он узнал позже, одна пуля увязла в правом лёгком, а другая, пробив желудок, остановилась у левой тазовой кости.

Поскольку он потерял много крови, а операционный рубец был длиной в тридцать сантиметров, ему пришлось пролежать в лазарете несколько недель. Очнувшись от наркоза, первое, что он увидел на этом свете, было доброе, круглое, веснушчатое лицо медсестры, которая, наморщив лоб, смотрела на часы, прижав подушечки пальцев к его запястью и беззвучно шевеля губами.

– Извините, мадмуазель, не поступала ли сюда девушка?

– Девушка?

– Луиза? Зелёные глаза, короткие чёрные волосы?

Медсестра засмеялась, помотала кудряшками и позвала врача. Тот тоже помотал головой. За день Леон расспросил всех медсестёр, санитаров, врачей и раненых, которые проходили мимо его кровати, а они все только смеялись, и никто ничего не знал. Вечером он написал три письма в Сен-Люк-на-Марне: одно – мэру, второе – начальнику станцию Бартельми и третье – хозяину кафе «Дю Коммерс». И хотя он знал, что полевая почта работает нерасторопно и на ответ он может рассчитывать только через недели или месяцы, уже на следующее утро он попросил узнать у администрации лазарета, не пришла ли ему почта.

Через три недели после операции он впервые смог самостоятельно подняться; ещё через три недели – была уже середина июля – он предпринял первую короткую прогулку к утёсам. Он шёл по крутому обрыву вдоль пляжа, лежавшего сотней метров ниже, сел в траву на западном конце и смотрел вниз на чёрную от ракушек отмель, на следы от костра и на песчаное местечко между скалами, где они с Луизой провели ночь.

Сорок два дня прошло с того времени. Море было такой же свинцово-серой пастой, как и тогда, ветер гнал через канал такие же грозовые тучи, чайки так же играли с восходящими потоками воздуха, и миру, казалось, не было дела до ужасов, произошедших на земле за это время; чайки и завтра, и послезавтра будут также играть на потоках воздуха, они будут играть на потоках воздуха, даже если за утёсами на севере Франции соберутся не только несколько сотен тысяч человек, а всё население планеты в полном составе, чтобы миллиардами забить друг друга в последней по настоящему кровавой бойне, чайки и тогда будут откладывать и высиживать яйца, когда последняя струя человеческой крови прольётся в море под этими утёсами – чайки будут играть на потоках воздуха до скончания века, потому что это чайки и им не надо сражаться с глупостью людей, китов или землероек.

Поскольку Леону, как гражданскому, ни при каких условиях не разрешалось использовать служебный телефон, он, несмотря на строгий запрет врача, потащился через четыреста ступенек вниз в городок и на почтамте попросил соединить его с ратушей Сен-Люка-на-Марне; там не ответили, и он позвонил на вокзал.

После шума, скрипа и последовательных соединений трёх телефонисток, трубку сняла мадам Жозианна, и Леону пришлось несколько раз повторить своё имя, прежде чем она поняла, кто

звонит. Она впала в слезливое ликование, называла его своим прелестным ангелом и хотела знать, где, ради всех святых, он пропадал всё это время, она не давала ему и слова сказать, она приказывала ему немедленно вернуться домой, поскольку все переживают за него, хотя, по правде сказать, все уже перестали переживать, он должен понять, пять недель прошло с его бесследного исчезновения, а поскольку от него не поступало никаких вестей, то все считали, что он с большой вероятностью – как Маленькая Луиза, с которой его видели уезжающими из города, что он, как и бедная маленькая Луиза, в последнем немецком наступлении в конце мая, в последнем немецком наступлении после четырёх лет войны, представьте только, какая досада, ведь теперь-то ясно, что *бошей* отбили назад, за Рейн, в расплату за семидесятый и семьдесят первый, исход войны уже практически решён, поскольку американцы с их танками и солдатами-неграми…

– Что с Луизой? – спросил Леон.

Мол, все в городке смирились с тем, что Леон каким-то образом попал под немецкое наступление 30 мая, поэтому, кстати, на его должность телеграфиста, хотя ей тяжело об этом говорить, пришлось взять другого человека, работа ведь не ждёт, но это не мешает ему вернуться домой – у мадам Жозианны он всегда найдёт тарелку супа и место для ночлега, а всё остальное устроится.

– Что с Луизой? – спросил Леон.

– Вот ведь паскудство… – вздохнула мадам Жозианна с непривычно грубоватым подбором слов, растягивая гласные, как будто желая отсрочить неизбежный ответ.

– Что с Луизой?

– Послушай, сокровище моё, маленькая Луиза погибла при бомбёжке.

– Нет.

– Да.

– Ч-чёрт.

– Да.

– Где?

– Я не знаю, мой хороший, никто не знает. Её сумку и удостоверение личности нашли на просёлочной дороге между Аббевилем и Амьеном. Понятия не имею, что она там делала. Говорят, что в её сумке были только буёк и четыре раковины от гребешков, а удостоверение было в крови. Так ли это на самом деле, я не знаю, ты же знаешь, мой ангел, люди много болтают.

– А велосипед? – спросил Леон и тут же устыдился своих бесконечных расспросов. Мадам Жозианна тоже удивлённо

промолчала, а потом продолжила своим тактичным тоном:

– Нам всем очень жаль, мой малыш Леон, все в Сен-Люке очень любили Луизу. Она была святой, действительно, святой Леон, ты ещё тут?

– Да.

– Ты ведь вернёшься домой, сокровище моё? Постарайся успеть к ужину, у нас сегодня рататуй.

Леон и в самом деле прибыл на вокзал Сен-Люка к ужину. Он дал мадам Жозианне расцеловать себя, накормить, осыпать ласковыми именами, потом она переодела его в чистую одежду и отругала за то, что он бледный и тощий, как смерть. Начальник станции Бартельми, со своей стороны, хотел, пока Жозианна на кухне мыла посуду, взглянуть на свежие рубцы Леона и расспросить о немецком военном самолёте того июньского утра, о бомбовой воронке на дороге и о длине юбок канадских медсестёр.

Но поскольку ни он, ни Жозианна не могли ничего рассказать о Луизе, после кофе он извинился и пошёл прогуляться по платановой аллее, чтобы расспросить болтунов в кафе «Дю Коммерс». Когда он вошёл в заведение, его чествовали так, будто он восстал из мёртвых, говорили наперебой, заказывали перно «для всех», за которое потом никто не хотел платить; но когда он завёл речь о Луизе, они стали неразговорчивыми, смотрели в сторону, крутили сигареты и набивали трубки табаком.

И мэр, которого Леон застал на следующее утро в ратуше, тоже не дал ему никаких сведений.

– От имени всего города и военного министерства мы все глубоко сожалеем о кончине маленькой Луизы, – сказал он в своей привычной официозной манере, разглаживая, однако, совершенно по-хозяйски несуществующую скатерть на письменном столе. – Эта славная девушка много сделала для отечества и для родственников наших героев войны.

– Несомненно, месьё мэр, – сказал Леон, раздражаясь от помпезного тона старика. Он впервые заметил, что шея у мэра, как у индюка, и синий с прожилками нос, как у его коллеги из Шербурга. – Но разве достоверно известно, что…

– Боже мой, сын мой! – воскликнул мэр, которому казался неуместным интерес, с которым парень осведомляется о его Луизе. – Факты на лицо, любые сомнения исключены.

– А разве её тело… нашли?

Мэр утонул в своём кресле и запыхтел, отчасти из-за грусти по круглым грудкам Луизы, а отчасти от злости на настойчивость этого юнца и из ревности, поскольку должен был делить с ним свою нежную память по ней.

– Не спорь, мальчик мой.

– Её тело нашли, месьё мэр?

– Мы сами надеялись до последнего…

– Нашли ли тело Луизы, месьё мэр?

– Мне не нравится, что ты сомневаешься в верности моего слова, – отрезал мэр с невольной резкостью. Чтобы заставить парня замолчать и одержать окончательную победу, он по внезапному наитию открыл ему, что останки маленькой Луизы, которые смогли найти вокруг сумки, согласно сообщению военного министерства, были захоронены в братской могиле.

– Я благодарю вас, месьё мэр, – прошептал Леон. Его лицо побледнело, а тело, только что напряжённое и готовое к прыжку, бессильно обмякло. – Известно ли, где находится эта…

– К сожалению, нет, – сказал мэр, который теперь начал испытывать сострадание к юноше и стыд за свой триумф. Конечно, по его ощущениям, он не то чтобы наврал, а только выдал догадку, граничащую с уверенностью, за достоверный факт; но поскольку он был в глубине души искренним человеком, он многое бы отдал, чтобы взять назад слова, сорвавшиеся с языка. Сейчас он пытался спасти то, что ещё можно было спасти.

– На войне всё кувырком, ты понимаешь? Голову выше, я всегда говорю. Что было, то прошло, посмотрим, что принесёт нам жизнь. Что у тебя сейчас в планах, куда ты пойдёшь?

Леон не ответил.

– На твоё место на вокзале должны были найти кого-то нового, ты же понимаешь. Ты будешь снова что-то искать, могу ли я тебе помочь?

Леон встал и начал застёгивать куртку.

– Давай-ка посмотрим, я получил сегодняшней почтой новый список мест от Военного министерства. Скажи мне, что ты умеешь?

Как оказалось, судебной полиции на набережной Дез Орфевр в Париже срочно требовался надёжный специалист связи с многолетним опытом работы с азбукой Морзе, начало работы: немедленно. Мэр схватил телефон, и на следующий день в восемь часов семь минут Леон сел на ранний поезд до Парижа.

ГЛАВА 8

С того дня прошло десять лет. Леон всё ещё был молодым человеком двадцати восьми лет. Его волосы, может, и не были столь же густыми как раньше, но держался он легко и моложаво, и, спускаясь в метро, он по-прежнему перепрыгивал через две, а то и три ступени, даже если не спешил.

Он положил мелочь в латунную монетницу, взял билет, прошёл через турникет и спустился по лестнице в туннель, облицованный белым кафелем. То был час, когда его жена Ивонна, которая через тридцать три года станет моей бабушкой, готовила ужин, а её первенец, который вырастет в моего дядю Мишеля, играл со своим железным паровозиком в золотой трапеции, брошенной солнцем на паркетный пол в гостиной. Леон представлял, как они обрадуются клубничным пирожным, и таил надежду провести ещё один мирный вечер.

В последние недели мирные часы были редкостью. Почти не проходило вечера без домашней драмы, которая обрушивалась на них без видимой причины, помимо их желания и по ничтожным поводам; а выходные дни превращались в сплошную череду мужественно таимого несчастья, вымученной, фальшивой весёлости и внезапных приступов слёз. Пока поезд подъезжал к станции, Леон вспоминал вчерашнюю драму. Она началась после того, как он уложил малыша в постель и, как обычно, рассказал ему сказку на ночь. Когда он, вернувшись в гостиную, взял из шкафа коробку с деталями тех настенных часов эпохи Наполеона III, ржавое нутро которых он купил на блошином рынке и месяцами пытался запустить, Ивонна ни с того ни с сего назвала его монстром равнодушия и бесчувствия, прямо в тапочках сбежала по лестнице на улицу Дез Эколь да так и стояла там, беспомощно глотая слёзы в вечерних сумерках, пока Леон не выбежал за ней и не отвёл под локоть обратно домой. Он усадил её на диван, накинул ей на плечи одеяло, сунул в печь брикеты, убрал с глаз долой коробку с настенными часами и поставил чай. Потом он, отчасти лукавя, отчасти искренне, извинился за свою невнимательность и спросил, что её так расстроило. И поскольку она не знала ответа, он ушёл на кухню за шоколадом, а она сидела на диване и чувствовала себя ненужной, глупой и мерзкой.

– Скажи мне честно, Леон, я тебе ещё нравлюсь?

– Ты моя жена, Ивонна, ты же знаешь.

– У меня пятна на лице, и я ношу лечебные чулки от варикоза. Как старуха.

– Это пройдёт, дорогая. Да это и неважно.

– Вот видишь, тебе наплевать.

– Неправда.

– Ты только что сказал, что это неважно. Я тебя понимаю, мне на твоём месте тоже было бы всё равно.

– Да что ты такое говоришь! Мне не всё равно!

– На твоём месте я бы давно ушла. Скажи честно, Леон, у тебя есть другая?

– Да нет же. Я тебе не изменяю, ты это прекрасно знаешь.

– Да, конечно, я знаю, – Ивонна горько кивнула. – Ты никогда ничего такого не сделаешь, и всё по одной простой причине: потому что это неправильно. Ты делаешь только то, что правильно, не так ли? Ты всегда такой спокойный, ты никогда не смог бы мне изменить, мой честный Леон, даже если бы очень захотел. Ты никогда не пойдёшь вразрез со своими принципами.

– Ты считаешь, что это неправильно – не делать ничего неправильного?

– Иногда мне хотелось бы вывести тебя из равновесия, понимаешь? Иногда мне хотелось бы, чтобы ты хоть раз, единственный раз потерял самообладание – ударил бы меня и ребёнка, напился бы, провёл ночь с проституткой.

– Ты говоришь о вещах, которых на самом деле не хочешь, Ивонна.

– Почему ты обращаешься со мной так, будто я твоя мать?

– Что ты имеешь в виду?

– Почему ты никогда не обнимешь меня, ты уже неделями ложишься, отодвигаясь от меня на самый край кровати?

– Потому что когда я тебя целую, ты вздрагиваешь. Потому что когда я глажу твои волосы, ты разражаешься слезами и называешь меня лицемером. Потому что в постели ты обругала меня похотливой обезьяной и требовала оставить тебя в покое. Я так и сделал, а теперь ты именно поэтому рыдаешь. Скажи, что мне делать.

Ивонна засмеялась и вытерла слёзы.

– Тебе и правда нелегко, мой бедный Леон. Давай больше не будет ругаться, ладно? Но давай и не будем друг друга обманывать и притворяться. Давай говорить откровенно. Чего я хочу, я не могу от тебя требовать, а чего хочешь ты, я не могу тебе дать.

– Это бред, Ивонна. Ты моя жена, и ты для меня хорошая жена. Я твой муж, и я стараюсь быть тебе хорошим мужем. Только это важно. Всё остальное устроится.

– Нет, не устроится, и ты знаешь это лучше меня. Как может устроиться то, чего нет. Можно сколько угодно стараться, но

желания не изменишь.

– И какие у тебя желания, скажи мне.

– Ладно, оставим это, Леон. Я не могу требовать от тебя то, чего хочу, и тебе не могу дать то, чего ты хочешь. Мы хорошо ладим и не превращаем жизнь другого в ад, но по-настоящему мы не подходим друг другу. Нам с этим жить до конца дней.

– Вот ты уже и о смерти заговорила, Ивонна, а ведь нам всего по двадцать восемь.

– Ты хочешь развестись? Скажи мне, ты хочешь развестись?

И вот так всё время. Для обоих было прямо-таки облегчением, когда за вечерними всплесками эмоций Ивонны следовала утренняя тошнота; после посещения гинеколога она была робкой, просила у Леона прощения, удивлённо смотрела на свой живот и строила предположения, что это скорее всего девочка; поскольку три года назад, вынашивая маленького Мишеля, она это точно помнит, она пребывала в состоянии самодостаточности и внутреннего довольства, которое, к радости Леона, сопровождалось приступами животной страсти, которой раньше она за собой не знала.

Леон сдержанно переносил то, что в этот раз о животном сладострастии не было и речи. Он созрел в мужчину с некоторым жизненным опытом, и после пяти лет семейной жизни ему было известно, что душа женщины таинственным образом связана с движением звёзд, сменой приливов и отливов и циклами её собственного тела, а может, и с подземными вулканическими течениями, маршрутами перелётных птиц и расписанием французских поездов, а то и объёмом добычи на нефтяных месторождениях Баку, частотой сердцебиения колибри в Амазонии и пением кашалотов под полярными льдами Антарктиды.

Несмотря на это, постоянно повторяющиеся драмы, которые, по трезвом размышлении, раздувались из ничего, постепенно становились ему не по силам. Хотя он и знал о переменчивости её настроения, и что в интересах семейного счастья следовало бы, по возможности, пропускать эти приступы временной невменяемости мимо ушей или быстро о них забывать. «Не нужно на них обижаться, – внушал ему как-то отец, которому он позвонил спросить совета в момент острой необходимости. – Они не виноваты, это как лёгкий вид эпилепсии, понимаешь?»

Но Леон не соглашался считать болезнью главную особенность своей жены. Разве не было его долгом серьёзно относиться к нуждам его спутницы? Разве, поклявшись у алтаря почитать и любить её до конца своих дней, он мог теперь пренебречь душевными муками своей жены, расценивая их как

отдалённое эхо песен кашалотов?

Леон подставил нос тёпло-сладкому ветру, который толкал перед собой подъезжающий поезд, и засеменил в потоке людей, двинувшихся к краю платформы. Несколько лет назад, когда он ещё не был женат и жил в мансарде в Батиньоле, он каждый день ездил на работу на метро и научился ненавидеть визг стальных колёс, жару, вонь, наполняющую вагоны, заляпанную обивку, скользкие, мокрые полы из реек и засаленные поручни.

Тогда он освоил важную для выживания жителя пригорода гибкость и умение двигаться в толпе, не толкаясь и пропуская вперёд человека, идущего рядом, не показывая при этом, что вообще его заметил. Леон знал, что может рассчитывать на такую же погружённую в себя предупредительность, и что давка, толкотня и ругань возникают лишь с появлением туристов или пожилых людей.

Он пропустил вперёд соседа справа и пошёл в прикрытии за его спиной, посторонился перед женщиной с коляской и в её кильватере добрался до раздвижных дверей вагона, а потом в два-три переменных шага проскользнул в угол к противоположной двери, где можно было нормально стоять. Он расстегнул пальто, сдвинул шляпу на затылок, прислонился к стене в углу, чтобы не браться за поручень, и зарылся руками в карманы пальто. Пока свободное пространство перед ним быстро заполнялось, он, избегая зрительного контакта, удостоверился, что все пассажиры – пригородные жители и что неприятностей ждать не надо.

Поезд тронулся, и Леон через окно смотрел на пассажиров, ожидающих на противоположной платформе, потом на покачивание кабелей на чёрно-коричневых стенах туннеля, на мельканье красных и белых сигнальных огней и зияющие чёрные боковые штольни. На следующей станции стало опять светло, потом опять темно, а когда снова посветлело, он сошёл и выбрался к дневному свету, купил клубничные пирожные и тут же вернулся под землю, куда как раз подъехал обратный поезд в направлении Порт де Клиньянкур.

Леон дал потоку пассажиров занести себя в вагон до того же угла у противоположной двери, где он стоял по дороге сюда, и поскольку на соседний путь также прибывал поезд, он стал рассматривать проплывающих мимо пассажиров: мужчин с газетами, инвалидов войны с костылями и женщин с корзинами для покупок. Сначала мелькающие силуэты были нечёткими и размытыми, потом они замедлились и обрели чёткие контуры, а когда поезд совсем остановился, он заметил в углу рядом с дверью – всего лишь в метре или полутора метрах от него – молодую женщину.

Она была одета в чёрное пальто, чёрную юбку и светло-голубую блузку, у неё были зелёные глаза, веснушки и густые чёрные волосы, обрезанные как по линейке от уха до уха, у неё был большой рот и нежный подбородок, она курила сигарету, которую держала между большим и указательным пальцами, как уличный мальчишка, и это совершенно точно была – Леон это понял с первой секунды – его Луиза.

Конечно, за прошедшие десять лет она изменилась, по-детски мягкие черты лица молодой девушки обострились и определились как черты взрослой женщины. Из-под тонких, прямых бровей смотрели живые, неподкупно внимательные глаза, а уголки рта носили черты решительности, новой для него. И когда она кончиками пальцев правой руки убрала за ухо прядь волос, блеснули накрашенные ногти.

Наконец Леон вышел из оцепенения, поднял руку и помахал. Он метнулся в сторону, чтобы попасть в её поле зрения, и безрассудно заколотил по стеклу. Но она, отделяемая от него каким-то метром воздуха и двумя пятимиллиметровыми оконными стёклами, потягивала свою сигарету и пускала дым к полу, стряхивала пепел и смотрела в пустоту. Он стал трясти закрытую дверь, которая отделяла его от Луизы, пытаясь оценить, сколько времени потребуется, чтобы перебежать по лестнице на другую платформу. Тут открытые двери со стуком закрылись – Леон оказался в западне. Он снял шляпу и стал размахивать ею – тут она наконец-то обернулась к нему.

Тут наконец-то их взгляды встретились, и когда недоверчивое изумление в вопросительном взгляде её зелёных глаз сменилось радостным узнаванием, а улыбка обнажила щербинку, исчезли его последние сомнения. Но в следующий момент их поезда одновременно тронулись в разные стороны, расстояние между ними становилось всё больше, угол зрения всё уже, и потом они вновь потеряли друг друга.

Пока поезд ехал по туннелю, Леон панически соображал, что делать, и остановился на трёх вариантах, которые казались ему одинаково логичными. Он мог, во-первых, вернуться следующим поездом на Сен-Сюльпис в надежде, что она поступит так же; или мог проехать на одну станцию дальше Сен-Сюльпис, предполагая, что она выйдет на следующей станции и будет ждать его там. Или мог сам остаться ждать на следующей станции, надеясь, что она поедет за ним.

В любом случае затея разыскать в час пик в туго набитых поездах, платформах и переходах одного-единственного человека, который то ли где-то ждёт, то ли сам в поисках мечется по подземке, была безнадёжной. Сперва Леон поехал на Сен-

Сюльпис, вскочил на скамью под рекламным плакатом, где был изображён красный кабриолет «ситроен 10cv B14», бороздящий просторы пустыни, и попытался через головы охватить взглядом сразу две платформы. Поскольку он видел лишь серые шляпы и чужие причёски, он проехал на следующем поезде одну станцию до Сен-Пласид на случай, если Луиза только вышла и не двинулась с места. Потом он вернулся назад на Сен-Жермен-де-Пре посмотреть, не ищет ли его Луиза там, потом снова на Сен-Сюльпис и оттуда второй раз на Сен-Пласид.

После шестнадцати таких поездок Леон понял, что так он никогда не найдёт Луизу. Он вспотел и обессилел, его костюм жал, а из коробки с клубничными пирожными, которая за время долгой одиссеи между тремя станциями метро изрядно пострадала в давке, теперь текла розово-жёлтая жижа клубничного сока, смешанного с ванильным кремом. Он медленно брёл под осенне-золотыми платанами бульвара Сен-Мишель и щурился в свете автомобильных фар, который отражался от мокрой мостовой.

Он чувствовал себя так, будто проснулся от беспокойного сна с запутанным сюжетом, удивляясь, как мог провести полвечера в метро, гоняясь за девушкой, которую не видел десять лет и которой, с большой вероятностью, давно нет в живых. Конечно, эта молодая женщина удивительно походила на Луизу, и она точно одарила его улыбкой, будто бы узнав. Но сколько в Париже молодых женщин с зелёными глазами – сто тысяч? И если у каждой десятой – щербинка между передними резцами, а из них каждая пятидесятая собственноручно обрезает себе волосы, не могло ли случиться так, что одна или другая из этих двухсот, возвращаясь на метро домой после рабочего дня, просто из доброжелательности улыбнулась незнакомцу, который, как клоун, размахивал шляпой.

Теперь Леон был уверен, что бежал за призраком – призраком, который уже десять лет верно сопровождал его. Это был его тайный грех: часто рано утром, только проснувшись, он представлял Луизу, как она ждала его, прислонясь к платану, а после обеда, когда время в лаборатории тянулось вязко, он доставлял себе удовольствие, вспоминая те выходные в Ле Трепоре; и наконец, ночами, одиноко лёжа на своей половине супружеской кровати, он пытался уснуть, думая о первой встрече с Луизой и её скрипучим велосипедом.

Он медленно повернул ключ в замке, осторожно закрыл за собой входную дверь; ему редко удавалось пройти незамеченным мимо комнаты консьержки, которая давно питала к нему расположение – за то, что на Рождество, когда её дочки были ещё

маленькими, он мастерил для них из деревянной стружки и обрезков ткани львов, жирафиков и бегемотиков. Занавески комнаты были задёрнуты, а через дверную щель доносилось шипение жира на сковородке и запах тушёного лука. На цыпочках он прошёл мимо стеклянной двери и у начала лестницы считал себя уже в безопасности, но тут дверь открылась, и вышла мадам Россето в своей чёрной вдовьей юбке, чёрном вдовьем чепце и синем фартуке в горошек.

– Месьё Лё Галль, вы меня напугали! Прокрадываетесь в дом как вор, да ещё в такой час!

– Извините, мадам Россето.

– Вы так поздно сегодня – с вами ничего не приключилось? – Консьержка приблизила к нему кончик носа, будто принюхиваясь.

– Нет, что вы. Что может со мной приключиться.

– Вы такой бледный, месьё, и выглядите ужасно. А что это у вас такое гадкое в руке? Дайте– ка сюда. Ну же, давайте сюда, без возражений, я приведу это в порядок.

Женщина метнулась к нему, взяла коробку у Леона и попятилась в свой стеклянный чулан, не сводя с него глаз – как мурена с добычей в коралловый риф. У Леона был единственный выход – последовать за ней. Он вошёл в луковый угар и смотрел, как она ставит коробку на кухонный стол, достаёт оттуда пострадавшие клубничные пирожные, укладывает их на тарелку в цветочек, усердно выправляет их своими набухшими пальцами и громоздит упавшие ягоды обратно на ванильный крем. Он дышал луковым смрадом её берлоги и сладковатым запахом её юбки на круглом теле, глядел на красную помаду, которая собиралась в скорбных морщинках её губ, на раскрашенную статуэтку мадонны на домашнем алтаре и на горящую свечу перед портретом её мужа в сержантской форме, на кружевную накидку на мягком кресле и в закопчённый угол над печкой, вслушиваясь в потрескивание угля и сосредоточенное сопение мадам Россето.

Тяжёлая штора отделяла жилое помещение от спальной каморки, где в скрипучих железных кроватках каждую ночь подрастали на четверть миллиметра её дочки в спокойной уверенности, что в не столь далёком будущем они расцветут в прекрасных девушек и при первой же возможности навсегда сбегут от своей матери. Кинутся за любовником, который пообещает им шёлковое бельё, или наймутся на службу к какой-нибудь даме, которая возьмёт их с собой горничными в Нейи. А мадам Россето останется одна, ещё долго будет жить в своём чулане, ожидая всё более редких визитов дочек, пока однажды не заболеет отчего-нибудь, притащится в больницу и немногим

позже, взглянув последний раз на подтёк на потолке, смиренно и без сопротивления исчезнет из этого мира.

Консьержка посыпала пирожные сахарной пудрой, чтобы прикрыть наиболее очевидный ущерб, вытерла руки о фартук и посмотрела на него взглядом, в котором читались незлобивость и ранимость измученного существа.

– Вот, месьё Ле Галль, лучше не получится.

– Я вам очень благодарен.

– Вам надо идти, жена вас ждёт.

– Да.

– Уже давно.

– Действительно.

– Два часа, вы так припозднились сегодня.

– Да.

– Я не припомню, чтоб вы возвращались так поздно. Мадам, наверное, волнуется.

– Вы правы.

– Но главное – ничего не случилось. Сейчас я брошу на сковородку говяжью печёнку. Я сама всегда ем только тогда, когда дети уже спят и я могу быть за них спокойна. Вы любите печёнку в винном соусе, месьё Лё Галль?

– Очень даже.

– А жаренную картошку с розмарином?

– Ради этого я готов бежать километры.

– При этом у вас дома есть всё, что нужно, вы счастливчик. С вами точно ничего не случилось?

– Нет, что вы. Что может со мной случиться. Мне пора.

– Конечно, мадам ждёт, а я вас задерживаю здесь своими шутками про печёнку.

– Ах, мадам Россето, не говорите так. Говяжья печёнка в винном соусе – это не шутка. Это очень серьёзная вещь. Особенно если в игру вступает жареный картофель в розмарине.

– Как вы красиво говорите, месьё Лё Галль! Вы культурный человек, я всегда повторяла. Вы точно не хотите попробовать? Я быстро?

– Звучит заманчиво, но…

– Мадам конечно же приготовила вам ужин. А я задерживаю вас своей болтовнёй.

– Как-нибудь в другой раз.

– Она конечно же волнуется.

– Мне пора.

– Хорошего вечера и передайте мадам большой привет!

ГЛАВА 9

Леон поднялся со своими клубничными пирожными на третий этаж. Лестница была свежевымыта, перила, вытертые от пыли, сияли красным цветом, латунные штанги блестели. Леон втянул ноздрями запах мастики для паркета, он внушал ему чувство покоя, постоянства и родины, а шум проходящих по лестничной клетке труб и шорохи из соседских квартир – чувство безопасности и причастности.

Перед своей дверью он остановился. Что он слышал? Его жена Ивонна своим высоким, чуть хрипловатым девчоночьим голоском пела балладу. *Si j'étais à ta place, si tu prenais la mienne…* Леон дождался, когда пение смолкло, и только после этого открыл дверь. Ивонна стояла в прихожей в светлой летней юбке, которая была слишком лёгкой для этого времени года, и устраивала в вазе букет астр. Она повернулась к нему и улыбнулась.

– Наконец-то ты пришёл! Ужин на столе. Малыш уже спит. Я не ужинала, дожидалась тебя и открыла бутылку вина.

Она взяла у него тарелочку с клубничными пирожными и посмеялась над их плачевным состоянием, отправила мужа с напускной строгостью мыть руки и, быстро глянув в зеркало, на ходу поправила себе причёску. Леон удивлялся; она больше не была тем отчаявшимся, измученным в неволе существом, которое он оставил утром, а была поющей и смеющейся юной девушкой, в которую он когда-то влюбился.

– Странный у тебя вид, – сказала она после еды, когда они перешли в гостиную, чтобы выпить кофе с раскрошенными пирожными. – Что-то случилось?

– Я ездил в Сен-Сюльпис и купил там клубничные пирожные.

– Я знаю, это было очень мило с твой стороны. Но что-то долго ты туда ездил, нет?

– Да.

– Больше двух часов. Ты где-то задержался?

– Я встретил ту девушку.

– Какую девушку?

– Я не уверен.

– Ты не уверен? Ты встречаешь девушку, но не уверен и опаздываешь на два часа?

– Да.

– Мой дорогой, это звучит так, будто нам нужно что-то обсудить.

– Я думаю, то была Луиза.

– Какая Луиза?

– Маленькая Луиза из Сен-Люка-на-Марне, ну, ты знаешь.

– Которая погибла?

Леон кивнул, и во всех подробностях рассказал жене о встрече в метро, о своих блужданиях по одному и тому же туннелю, о своих сомнениях по дороге домой и о сомнениях, которые приходили к нему в ответ на его сомнения. Под конец он рассказал и о своём визите к консьержке, и как потом поднимался по лестнице, и как у него выступали на глаза слёзы сострадания к мадам Россето, но в то же время от сострадания к самому себе и ко всему миру.

Когда он закончил, Ивонна встала и подошла к окну, отодвинула штору и посмотрела вниз на тихую ночную улицу.

– Мы оба знали, что когда-то это случится, не так ли? – Её голос был звонким, на её губах играла улыбка, а фигура была окружена ореолом света уличного фонаря, который стоял под дождём у дома. – Ты будешь искать убитую девушку, тебе нужно удостовериться.

– Девушки больше нет, Ивонна, так или иначе. Столько времени прошло с тех пор.

– И всё равно ты будешь её искать.

– Нет, не буду.

– Когда-нибудь будешь. Ты не сможешь жить, не зная наверняка.

– Мне достаточно того, что я знаю, – возразил он. – Более точные сведения мне не нужны. Я не бегаю за женщинами, ты же знаешь.

– Потому что ты женат на мне?

– Потому что я твой муж, а ты моя жена.

– Ты не хочешь поступать неправильно, это делает тебе честь, Леон. И всё-таки этот вопрос будет тебя мучить, пока ты не докопаешься до ответа. Я не хочу на это смотреть, а главное, я не хочу, чтобы это сказывалось на мне. Ты должен разыскать эту девушку, это я тебе приказываю.

На следующее утро по дороге на работу Леон боролся со своим желанием проехаться наудачу туда и сюда на метро. На площади Сен-Мишель он сдался и спустился под землю, под чугунное литьё светильников в стиле модерн. В следующие часы кого он только не видел под землёй – людей всех возрастов и всякого роста обоего пола, любых цветов кожи, да пару собак и кошку в клетке из ивовых прутьев и даже крестьянина с печальными собачьими жёлтыми глазами и двумя живыми овцами – как видно, он оставил свою телегу в Порт-де-Шатильон и теперь ехал к рынку на метро. Но девушку с зелёными глазами

он не видел.

Никто не заметил, что он опоздал на работу. Химическая лаборатория *Судебной полиции* находилась на пятом этаже на Набережной Орфевр гораздо выше комиссариата, в котором круглые сутки было много крика, плача и ругательств. В отделе Леона, наоборот, царила тишина. Пахло здесь не мокрыми дождевиками полицейских и не пóтом страха допрашиваемых, не пивом и не кислой капустой, не сэндвичами и сигаретами репортёров, которые ждали новостей в вестибюле; здесь пахло хлором, жавелевой водой, эфиром и ацетоном. В лаборатории было много латуни, стекла и красного дерева, а сотрудники в белых халатах работали тихо и сосредоточенно под шипение газовых горелок Бунзена.

Все они ступали неслышно и разговаривали шёпотом, и если какой-нибудь неловкий практикант стучал двумя коническими колбами или мензурками, коллеги сердито хмурили брови. Здесь начальники обращались к своим подчинённым на «вы» и свои приказы отдавали в вежливой вопросительной форме, кофе каждый готовил себе сам, и никому не пришло бы в голову вообще заметить опоздание коллеги.

Минуло десять лет с тех пор, как Леон попал в центр связи *Судебной полиции,* который располагался двумя этажами ниже лаборатории и этажом выше комиссариата. В первые недели ему трудно было соответствовать своей функции телеграфиста, потому что здесь принимались во внимание только результаты, и ему не удавалось прикрыть свою некомпетентность ни красивой формой железнодорожника, ни красным перронным флажком. С первого же часа работы стало безоговорочно очевидным, что азбукой Морзе он не владеет, и ему пришлось оправдываться перед начальством смутными намёками на долгий перерыв в работе вследствие военной службы и продолжительного выздоровления после ранения на фронте; один раз он даже задрал рубашку и показал свои пулевые раны.

Но поскольку он проявлял старание и вечерами в своей мансардной комнате в Батиньоле до поздней ночи штудировал официальные справочники телеграфных компаний – французских и международных, то он скоро наверстал упущенное и уже через несколько месяцев считался полноценным специалистом связи.

Правда, впоследствии он обнаружил, что телеграфирование – когда им уже полностью овладел – дело довольно однообразное, и в нём нет ничего интересного. На его счастье через три года замдиректор по научной службе, с которым он иногда обедал вместе, освободил его от работы связиста, переведя на перспективную должность в только что организованной

химической лаборатории.

Да, перемена места означала для Леона возврат в состояние полной некомпетентности, поскольку он ещё в гимназии из-за совершенного отсутствия интереса к химии был самым слабым учеником в своём классе; и за годы, которые минули с тех пор, он окончательно забыл даже те рудиментарные познания, которые осели в нём против его желания.

Однако со своим проверенным методом неподсудного авантюризма ему и на сей раз удалось быстро устранить свою безграмотность. Коллеги прощали ему первоначальную беспомощность уже за одно то, что он со всеми приветливо здоровался и за всеми признавал их место на иерархической лестнице. Той осенью 1928 года наконец, поскольку у него ожидался второй ребёнок, он входил в лаборатории в число старших по должности и ни перед кем уже не отчитывался. У него были хорошие перспективы через пару лет стать заместителем начальника отдела.

В то утро ему предстояло исследовать картофельную запеканку на предмет присутствия мышьяка; процесс, который ему приходилось проделывать уже сотни раз. Он взял из холодильного шкафа чашку с якобы отравленной запеканкой, растворил щепоть на кончике ножа в перекиси водорода и вылил раствор на кусочек промокашки, на которую был нанесён раствор «золотой соли». Хотя ему благодаря многократному повторению было привычно каждое действие, он обращался с пробами, из которых за многолетний опыт в среднем каждая вторая или третья действительно содержала ядовитые вещества в опасном для здоровья количестве, с предписанной осторожностью. На сей раз результат оказался отрицательным, хлораурат натрия при вливании картофельного раствора не окрасился фиолетовым, а сохранил свой коричневый цвет. Леон пошёл к раковине и вымыл свои склянки, сел к письменному столу и напечатал для следователя на чёрно-золотом «ремингтоне» результат исследования в трёх экземплярах под копирку.

В первые годы он ещё интересовался нарушенными любовными клятвами и остывшими страстями, которые приводили к отравленной картофельной запеканке, равно как и историями корыстолюбия, обмана и возмездия; он пытался вообразить себе отчаяние отравительницы – к крысиному яду прибегали почти всегда женщины, мужчины в борьбе за существование предпочитали другое оружие, – и пытался проникнуться тем чувством облегчённого разочарования тех мужей, которые ошибочно истолковали свои желудочные судороги, приступы головокружения и сильное потовыделение

как симптомы отравления; он разыскивал на первом этаже комиссаров, ведущих соответствующее расследование, и болтал с ними в вестибюле, чтобы выяснить подробности о судьбе тех людей, которых он, Леон Лё Галль своими пипетками и стеклянными палочками либо выводил на свободу, либо загонял в тюрьму или на эшафот. Иногда он даже неофициально и вопреки советам коллег ходил на место преступления или смотрел на дома отравительниц, наносил визиты жертвам в морге или смотрел женщинам-убийцам в глаза в момент вынесения приговора.

Но со временем он заметил, что подавляющее большинство этих драм ужасно банальным образом походили друг на друга и в конце концов представляли собой одинаковые истории жадности, тупости и глупости сердца, которые с незначительными вариациями повторялись снова и снова, отчего он, начиная уже с третьего года службы, ограничивался тем, что именем закона искал мышьяк, крысиный яд или цианистый калий, а все вопросы вины, судьбы и чувств, равно как и наказания, прощения или греха предоставлял другим – например, судьям в их почтенных мантиях или господу Богу на небе, или маленькому человеку на улице, или пьющим пиво за столом для завсегдатаев. Эту профессиональную позицию служебного смирения ему с самого начала и рекомендовали опытные коллеги.

По крайней мере он мог почти в каждом случае дать однозначный, ясный и исчерпывающий ответ на простые вопросы, которые ему приходилось решать в лаборатории – обнаружен или нет мышьяк, обнаружен или нет цианистый калий, – это он находил очень приятным. И моральный принцип, лежащий в основе его работы – что нехорошо посредством яда препровождать людей из жизни в смерть, – после стольких лет бесчисленно исследованных случаев он по-прежнему мог безоговорочно подписать.

С этой точки зрения он находил смысл своей работы – давать знать потенциальным отравительницам, что им не выйти сухими из воды – всё ещё хорошим, важным и правильным. Что же касалось однообразного характера его рабочей повседневности, который Леон временами переносил с трудом, то он, помимо всего прочего, утешал себя тем, что ему хорошо за это платят, благодаря чему он после свадьбы смог позволить себе переезд из Батиньоля на улицу Эколь, а также надеждой, что при благоприятном развитии событий он когда-то сможет занять более интересную должность.

После картофельной запеканки он исследовал стакан белого бордо на предмет цианистого калия, снова получил

отрицательный результат и достал из холодильного шкафа рокфор, который должен был проверить на присутствие крысиного яда. Глянув на часы над дверью, он увидел, что уже одиннадцать. Он отложит рокфор на послеобеденное время и в виде исключения пойдёт обедать домой; а поскольку он так рано управился, он использует свободное время чтобы на пути домой два-три раза проехаться на метро между станциями Сен-Мишель и Сен-Сюльпис.

Когда Леон свернул с бульвара Сен-Мишель на улицу Эколь, облачный покров разорвался. Далеко впереди светилась Сорбонна той лучистой белизной, какая бывает только на улицах Парижа, и небо вдруг засверкало, как будто покрытое золотой пылью. Внезапно начали петь дрозды на деревьях, моторы автомобилей зазвучали радостней, дамские каблуки застучали по мостовой веселее, свистки полицейских казались более дружелюбными.

Через пару шагов Леону почудилось, что он различил издалека сквозь уличный шум счастливые крики своего сына Мишеля. Подойдя ближе, он увидел, что не обманулся, – малыш действительно играл на маленькой зелёной площадке рядом с Французским колледжем, которую городская служба озеленения пару недель назад разбила прямо под окном его гостиной. Щёки мальчика разрумянились, глаза сияли, и он со всей полнотой счастья четырёхлетнего кружил на ярко-красной педальной машинке, имеющей форму пожарного грузовика и полностью оборудованной пожарной вертящейся лестницей, колоколами, поисковым прожектором, раз за разом объезжая каменный бюст тугоухого поэта Пьера де Ронсара, который стоял посередине площадки.

На одной из каменных парковых скамей сидела как влитая его жена Ивонна. Её левая рука покачивалась за спинкой скамьи, а правое предплечье горизонтально покоилось на её голове, и она вытянула ноги далеко вперёд и была погружена в любование детским счастьем, довольная как кошка, досыта накормившая своих котят. На ней было длинное белое льняное платье, которое Леон никогда раньше на ней не видел и под которым самоуверенно прорисовывался её разбухший животик, а ещё на ней была изящная соломенная шляпка и солнечные очки с розовыми стёклами, придававшие её летнему облику что-то дерзкое.

Леон подивился. Это была уже не напевающая шлягер девушка, которую он оставил утром, и не измученное домашним заточением существо, которое сопровождало его в минувшие месяцы – эту женщину он ещё никогда не видел. Такой могла бы быть одна из тех русских дворянок, что часами прохаживаются по

Люксембургскому саду, или американская киноактриса, у которой внутри оказался уже третий хайбол.

Когда Ивонна заметила его, она помахала ему всеми пятью пальцами правой руки по отдельности. Он тоже помахал в ответ, потом присел на корточки рядом с сыном и попросил показать ему в машине колокол и отделение для перчаток.

– Леон, как хорошо, что ты хоть раз пришёл обедать домой! – сказала она, когда он сел рядом с ней. В приветственном поцелуе он заметил, как она гибко прильнула к нему, чего уже давно не бывало.

– Извини за вопрос, – сказал он. – Ты что, сошла с ума сегодня утром?

Ивонна засмеялась:

– Это ты из-за наших обновок? Да, мы с Мишелем сделали вылазку в галерею Лафайет за покупками.

– Ты купила эту штуку новой?

– Как видишь. Посмотри, как счастлив малыш. Колокол из массивной латуни, представляешь? Мишель, хороший мой, позвони ещё раз в колокол для папы.

Малыш дёрнул колокол и зазвонил в него так, что прохожие на другой стороне улицы удивлённо подняли головы, и Леон заставил себя улыбнуться детской радости. Затем снова повернулся к жене:

– А скажи, пожалуйста, сколько эта пожарная машина…

– Она тебе нравится?

– …сколько она стоила?

– Понятия не имею, на счёте написано. Наверное, это чуть больше, чем ты зарабатываешь в месяц. Кстати, сколько ты зарабатываешь?

– Ивонна…

– Представляешь, эта машина – от Рено.

– У тебя не все дома.

– Настоящий маленький «рено», произведённый в цехе сборки в Булонь-Билланкуре, понимаешь? Мне это объяснил продавец. Сила от педалей передаётся на заднюю ось через кардан, как у настоящего «рено», ты должен на это посмотреть.

– Ивонна…

– Ты знаешь, что такое кардан?

– Да.

– Что?

– Штанга с зубчаткой для передачи крутящего момента.

– Правильно. А что ты скажешь про моё платье?

– Послушай меня.

– Солнечные очки, конечно, немного глуповаты, это я готова

признать.

– Ты должна меня выслушать.

– Нет, теперь разок послушай ты меня, Леон. Ты слушаешь меня?

– Естественно.

– Ты хочешь мне сказать, что я сделала глупость, не так ли?

– Безусловно.

– Вот видишь, в этом мы с тобой единодушны. Я сделала глупость. Но ты тоже сделал глупость.

– Ты разоришь нас своими карданами.

– А ты сегодня вдоволь накатался на метро, разве не так?

Леон молчал.

– Я хорошо тебя знаю, понимаешь? Я знала, что ты сделаешь это, ещё до того, как ты сам это понял. Я смотрела, как ты уходил сегодня утром из дома. По виноватому покачиванию твоего хорошенького мальчишеского зада я видела, что ты сегодня будешь кататься на метро.

– И поэтому ты отправилась с малышом в галерею Лафайет?

– Именно.

– Извини, но я тут не вижу никакой связи.

– Леон, эти поездки на метро – позор и оскорбление – и для тебя, и для меня, и для нас обоих. Я не хочу, чтобы ты делал такие гадкие мелкие глупости. Ты делаешь себя смешным и выставляешь меня на посмешище. Это надо прекратить. Либо ты ищешь убитую девушку, либо ты её не ищешь.

– В этом ты права.

– Но если ты её ищешь, ты должен делать это как следует. Иначе я стану показывать тебе, как делать не гадкие мелкие, а по-настоящему большие глупости. Если ты и впредь будешь предпринимать эти гадкие мелкие поездки на метро, я стану делать такие глупости, каких ты не видел и не слышал. – Она взяла его правую руку в свои ладони и стиснула их у себя между колен, потом положила голову ему на плечо. – Скажи, Леон, я тебя потеряю? – Её голос вдруг стал тоненьким, а лицо приобрело измученное выражение, как будто она выщипывала себе брови или выдёргивала волоски на ногах. – Ты уйдёшь? Я тебя лишусь?

– Как ты можешь такое говорить? Ни в коем случае я не уйду, это совершенно исключено.

– Мило, что ты это говоришь. Но мы лучше знаем, оба знаем, не так ли? Ты, может быть, и не уйдёшь, это верно. Но, собственно говоря, я тебя уже потеряла – или у меня никогда тебя не было. Так уж оно есть. И теперь либо станет ещё хуже, либо станет чуточку лучше. Это полностью зависит от нас обоих.

– Я сижу тут с тобой, Ивонна. Ты же видишь. И сижу потому,

что хочу этого. Я никуда не уйду, клянусь тебе.

– И своим клятвам ты верен, я знаю. – Она вздохнула и похлопала его по боку как собаку. – И всё же тебе нельзя терять времени, Леон. Пускайся на поиски, пока след свежий.

– Это не имеет смысла.

– Я приказываю тебе. Придумай что-нибудь, как можно найти эту женщину. В конце концов, ты же работаешь в полиции.

Некоторое время они сидели рядом молча, глядя на маленького Мишеля, который на своей пожарной машине ездил по кругу по гаревой дорожке. Когда она расслабила колени, он взял её правую руку и поднёс к своим губам. Отстранился от неё и кивнул, как будто хотел подкрепить своё решение перед самим собой. Потом, не говоря ни слова, быстро и решительно зашагал прочь. Ему казалось, что это не он сам удаляется, а улица Эколь отступает от него назад.

ГЛАВА 10

Скорый поезд в Булонь выехал из города в Пикардию. Леон сидел один в перегретом купе второго класса и пытался читать вечерний выпуск Авроры, но то и дело поглядывал на осеннюю коричневую землю. Он совсем недолго, оставив свою жену в парке и вернувшись на бульвар Сен-Мишель, раздумывал, не заглянуть ли ему к колегам в комиссариат и не попросить ли их разыскать Луизу полицейскими средствами; но потом ему стало ясно, что ничего хорошего из этого получиться не могло. Во-первых, он сделался бы предметом насмешек коллег, во-вторых, розыск, если бы он вопреки всем ожиданиям действительно был предпринят, с большой вероятностью оказался бы безрезультатным, а в третьих, Луизе, если бы её действительно разыскали, вряд ли показалось бы романтичным, если давно потерянный друг юности после десяти лет разлуки в качестве первого признака жизни наслал бы на неё орду полицейских в форме.

Итак, Леон решил искать Луизу самостоятельно. Правда, ему, проводившему свои дни в уединении лаборатории, были лишь смутно известны методы розыска Судебной полиции; но основное правило криминалистики – что преступник часто возвращается на место преступления – было ему известно. И поскольку он и Луиза в данном случае оба были в какой-то мере преступники, сообщники, но в то же время и жертвы и следователи, он поехал на метро на Северный вокзал и купил билет до Ле Трепора. Прямая дорога через Эпинёй была в том сентябре 1928 года закрыта из-за ремонтных работ, и ему пришлось ехать окольным путём через Амьен и Аббевиль.

Как и большинство горожан, Леон очень редко покидал город. Правда, он, как и все парижане, клялся при всяком удобном случае, что он, если бы это было возможно, навсегда с лёгким сердцем оставил бы шум, грязь и суету большого города ради тихой, мирной жизни где-нибудь в провинции и что опера, Национальная библиотека и все кинотеатры Парижа с радостью поменял бы на стакан бургундского под южным солнцем, партию в петанк среди друзей и долгую прогулку по лесам и виноградникам со своей собакой, которую бы он тогда себе завёл и которая, быть может, была бы чёрно-белым коккер-спаниелем по кличке Казимир или Патапуф.

Но поскольку для Леона на виноградниках юга не было работы и втайне он, как и все парижане, ясно понимал, что в провинции он за короткое время смертельно заскучал бы, то он продолжал мучиться в нелюбимом городе. Один или два раза в

хорошее время года они с женой и ребёнком ездили на борту Bateau Mouche вниз по Сене и устраивали пикник в лесу Сен-Жермена-ан-Лэ, а между Рождеством и новым годом он ездил на поезде в Шербург, чтобы повидать мать и отца. Остальные триста пятьдесят дней он проводил в пределах города, причём самого города он триста дней в году и не видел, за исключением дороги на работу от улицы Эколь до Набережной Орфевр.

Леон снова удивился, как резко на краю города оборвалось море домов, перейдя в зелёно-бурый вал лугов, полей и пашен. У Порт-де-ля-Шапель недалеко от железной дороги ещё стояло несколько фабрик и складских ангаров, а на берегу Сены несколько навесов и амбаров; но сразу за газгольдером Сен-Дени, где из дымовых труб ещё валил густой, вялый дым, крестьянский малчишка уже гнал на пастбище коров, до горизонта убегала прямая, как стрела, аллея тополей, и жёлто-золотые ивы гнулись под резким северным ветром.

Леон почувствовал острое желание выйти на ближайшей станции, купить какой-нибудь велосипед – а ещё лучше: украсть – и под открытым небом, на свежем воздухе, под дождём и против ветра ехать к морю. Седалище будет болеть как тогда, мышечная боль будет как тогда, он будет подбирать по дороге всякую дрянь и глаз не спускать с горизонта в надежде, что там появится девушка в блузке в красный горошек на скрипящем велосипеде. Он купит хлеба и ветчины и будет пить воду из источника, будет облегчаться в кустах как крестьянский мальчишка, а в непогоду будет искать укрытия в пустых сараях как бродяга – и всё это будет бессмысленно и безнадёжно и станет ещё одной гадкой мелкой глупостью; недостойной его Ивонны, недостойной его Луизы и недостойной его самого.

Поездка длилась два часа и тридцать пять минут. Между Амьеном и Аббевилем железнодорожная линия проходила рядом с мощёной просёлочной дорогой, по которой Луиза и Леон ехали в тот раз. Ему чудилось, что он помнит вот эту харчевню или вон ту мельницу, а может, и одинокую липу или особенно красивую виллу, и он напряжённо вглядывался в поисках гряды холмов, на которой Луиза и он, в версте друг от друга, по отдельности полегли в бомбовые воронки. Спустя десять лет после окончания войны самые явные следы военного опустошения уже исчезли; люди починили дороги и заново отстроили дома, а природа сровняла окопы и милостиво покрыла зеленью бомбовые воронки.

В Аббевиле он сел на туристический трамвайчик, который доставил его по тряской дороге в Ле Трепор. Он был единственным пассажиром, за исключением пары школьников и девушки в деревянных башмаках, у которой на коленях стояла

корзина белокочанной капусты. По трамваю было видно, что за годы войны, инфляции и экономического кризиса парижские отдыхающие иссякли; лиловая обивка сидений обносилась и растрескалась, стёкла окон были мутные, кожаные ремни рваные, хромированные штанги поблекшие, а рельсы гнутые, и между ними рос бурьян. По дороге никто не сел в трамвай и никто не вышел. Только на конечной станции на набережной Франсуа Первого школьники с шумом выбежали наружу, за ними выскользнула девушка в деревянных башмаках.

На портовой набережной Леон огляделся, как будто присутствовала хоть малейшая возможность, что из боковой улочки, в каком-нибудь окне, на борту рыбацкой лодки покажется девушка с зелёными глазами. Вон у того уличного фонаря они тогда поставили свои велосипеды, где-то возле этой причальной тумбы она на нём повисла. Вот здесь она бросала в воду у причала белые полоски жира со своей ветчины, вон там она своими пальчиками сунула ему в рот последний кусочек, а вот здесь потешалась над слащавыми рожами отдыхающих. Из этого источника она пила воду, по этим булыжникам мостовой, между которыми росла трава и мох, она ступала своими чёрными, разношенными тапочками на шнурках.

Туристические лодки, которые тогда пыхтя и дымя въезжали в бухту и выезжали в море, теперь стояли на причале у портового парапета, на корпусе у них были водоросли, а люки заколочены досками. На набережной не видно было белых зонтиков от солнца, розовых туфелек и блестящих гамаш, лишь растрёпанные чайки, косматые собаки и орда босоногих мальчишек, играющих в футбол пустой жестяной банкой. Только рыбаки по-прежнему были на месте и приводили свои сети в порядок, курили трубки и узловатыми руками поглаживали свои морщинистые затылки.

Леон пошёл к маяку, сел там на парапет и поёрзал по нему из стороны в сторону, пока у него не возникло чувство, что он нашёл то место, на котором сидела Луиза. Тогда он положил ладони на парапет и погладил камни. Вдруг он почувствовал, что голоден; с завтрака он ничего не ел.

Кафе Дю Коммерс, в котором Луиза объясняла ему разницу между богатыми и бедными скучающими, было закрыто. Окна и двери были зарешёчены, перед входом лежала нанесённая ветром осенняя листва и пожелтевшие обрывки газет. Бежевая собака просеменила мимо, задрала заднюю лапу и, продолжая прыгать на трёх ногах вперёд, пускала струйку вдоль стены дома.

Леон обогнал её и миновал закрытый специализированный магазин для кружевниц, потом закрытый киоск, покосившийся жилой дом и ярко раскрашенную лавку, которая называлась «На

четырёх ветрах» и раньше продавала пляжные игрушки. За ней была лавка скобяных товаров, и в ней горел свет. Леон толкнул дверь и вошёл, купил синий эмалированный котелок и поднялся вверх по Парижской улице, где он в тот раз покупал хлеб, вино и овощи.

Час спустя он сидел между двумя обломками скалы, что лежали в конце пляжа – массивные, несдвигаемые и неизменные. Был час отлива, прибой бессильно и ворчливо бросался на серый галечник пляжа, а чайки играли с восходящими потоками воздуха. Только теперь до Леона дошло, как давно и как сильно ему не хватало их крика. Он ворошил палкой свой костёр, подкладывал в огонь плавника и помешивал в котелке, до краёв наполненном мидиями, морковью, луком и морской водой.

Колокол на церковной башне пробил пять, затем последовал далёкий звон трамвая; Леон загодя смотрел расписание и знал, что это был последний прибывающий трамвай на сегодня и что последний поезд в Париж отправится ровно через час.

Он смотрел на каменистый пляж, на котором догнивали забитые водорослями и заметённые листвой некогда белые купальные домики. Позади них стояли благородные виллы, которые хотя и были свежепобелены и храбро сохраняли осанку, но со своими закрытыми окнами и окоченело опущенными шторами выглядели так, как будто задохнулись от ужаса перед лицом мирового развития событий. На противоположном конце эспланады, в просвете домов между отелем «Англез» и казино должна была в ближайшие минуты показаться Луиза, если она хотела ещё успеть поесть мидий.

После того, как церковный колокол пробил четверть шестого, Леон снял котелок с огня и начал есть. Вначале он ел медленно, поглядывая на эспланаду, потом быстро и решительно. Последние створки он бросил на пляж. Потом пошёл к воде, вымыл котелок и поставил его вверх дном у костровища.

На обратном пути он шёл не через пляж, а прямой дорогой через эспланаду к Парижской улице и вверх к церкви Сен-Жака. Мадонна по-прежнему стояла в своей нише справа у входа. Её румяные щёки были такими же, что и раньше, и чёрные пуговичные глаза тоже, только сине-золотое одеяние немного посерело, и вся её фигура больше не была утыкана сложенными и свёрнутыми в трубочку записками; теперь у неё в ногах стоял ящик, в который можно было бросать пожертвования в пользу вдов затонувших моряков.

Леон подумал, не встать ли перед мадонной на колени и не сказать ли молитву; но поскольку он не был уверен, сможет ли без пропусков дочитать до конца хотя бы «Отче наш», он

передумал падать ниц и бросил в ящик монету. Потом достал блокнот, написал пару строк, вырвал страницу, скатал её в трубочку и сунул точно, как тогда, мадонне в правую подмышку.

Но поскольку эта записка была единственной, она выглядела под рукой Марии как термометр, и богоматерь, казалось, была в лихорадке. Он снова вытянул трубочку и засунул её за ухо, где она выглядела как карандаш столяра. В складках синего одеяния она казалась кинжалом, между губами мадонны – сигаретой, а в ногах как кость, которую сюда притащила собака. В конце концов он снова сунул записку в правую подмышку и зашагал прочь, к порту. Ему следовало поспешить, чтобы успеть на последний трамвай.

Три дня спустя Леон слишком заблаговременно сидел на террасе Cafe de Flore. Стоял субботний вечер, бульвар Сен-Жермен был полон гуляющих и туристов. Он выпил уже три чашки кофе и дважды бегло пролистал пять газет, а ему всё ещё надо было убить двадцать минут, пока, наконец, наступит пять часов. Он застегнул свой пиджак и снова расстегнул, вытянул ноги и потом снова поджал их под стул, спросил у женщины за соседним столом точное время и перевёл свои карманные часы на три минуты назад. Потом аккуратно свернул газеты и сложил их стопочкой, и всё время не сводил глаз с потока людей.

Вообще-то он сидел здесь не по своей воле. Это его жена Ивонна заставила его соблюсти эту договорённость, не зная наверняка, договорённость ли это вообще. Когда он два дня назад поздним вечером вернулся из Ле Трепора на улицу Эколь, ему против ожидания удалось проскользнуть мимо консьержки незамеченным. Но на лестнице, на промежуточной площадке его ждала Ивонна, одетая в дорогу, в пальто и шляпе, с чемоданом, стоящим у ног. В горсти она сжимала смятый платок, который подносила ко рту.

Леон снова удивился ей; это была не подвыпившая весёлая дама с розовыми стёклами солнечных очков, которую он оставил в парке в обеденный перерыв, и не напевающая юная девушка, и не измученная домохозяйка – на сей раз Ивонна была героиней греческой трагедии, готовой к любой жертве.

– Ну? – спросила она.

– Ничего, – ответил он и взял у неё чемодан. – Я идиот, прости меня.

– За что?

– Я ездил на пляж Ле Трепора. Как тогда, понимаешь. Это была только идея. Пойдём домой, прошу тебя.

И после того, как он всё ей рассказал, она промокнула платком глаза и сказала:

– Послезавтра в семнадцать часов в Cafe de Flore?

– Да, но…

– Никаких но. Ты пойдёшь туда, Леон, слышишь? Только чтоб удостовериться. Ты должен это сделать, я так хочу.

Было уже десять минут шестого, когда Леон почувствовал её присутствие. Он не увидел её и не услышал, он лишь ощутил её как дуновение, которым потянуло по улице, или как луч света, который падает на дома, когда облака рассеются. Леон огляделся, ищущим взглядом посмотрел на всех посетителей кафе, потом пробежал глазами окна фасадов напротив, не упуская из виду прохожих на тротуаре.

Тут он заметил красивый, чуть помятый автомобиль, который стоял, не заглушив мотор, на другой стороне бульвара, на площади Дю Квебек. То был нежно-зелёный «рено-торпеда-172», легко опознаваемый по заострённой задней части кузова, которой он был обязан своим названием. Пару лет назад Леон заглядывался на эту элегантную и быструю двухместную машину, когда она вошла в моду на парижских улицах, и какое-то время тайно прикидывал, сколько месяцев он мог бы откладывать четверть, треть или пятую часть своей зарплаты, чтобы позволить себе внести первый взнос.

Но поскольку он был здравомыслящим человеком, он никогда не упускал из виду тот факт, что у него как отца семейства не было оправданной причины отдавать четверть, треть или пятую часть зарплаты за двухместную машину. Его жена временами посмеивалась над его тоскливыми взглядами, которыми он провожал проезжающие мимо «торпеды», и он тогда постоянно утверждал, что пялился совсем не на машину, а на красивую женщину на другой стороне улицы.

Леон не видел, как эта «торпеда» подъехала, так что она, должно быть, уже стояла там некоторое время. Верх был закрыт, выхлоп дымил, за отражающим ветровым стеклом смутно прорисовывались очертания. Маленькие круглые фары над помятым передком, казалось, подмигивали ему, чёрная круглая дыра в погнутой решётке радиатора что-то кричала ему, и вся машинка, казалось, дрожала в нетерпеливом ожидании, что Леон, наконец, встанет, перейдёт через дорогу и сядет в неё.

Он неуверенно поднялся, одной рукой положил на стол деньги, а другую на пробу поднял для приветствия – и тут пассажирская дверца распахнулась, и с водительского места женская рука поманила его к себе.

Леон ещё стоял одной ногой на тротуаре, а второй в машине, когда «торпеда» тронулась и элегантно встроилась в транспортный поток бульвара Сен-Жермен. Он упал на сиденье,

открыл рот, чтобы поздороваться с Луизой, но не вымолвил ни звука, потому что простое, затёртое «бонжур» или «привет» казалось ему слишком банальным в этой необыкновенной ситуации.

Поэтому первой заговорила Луиза.

– Целоваться не будем, – сказала она. – Не будем бросаться друг к другу на шею, договорились? Не будем орошать наши лица слезами и вытирать их друг у друга, и не будем вырезать на тысячелетних липах сердечки и клясться в вечной любви.

– Как скажешь, – согласился Леон.

На голове у Луизы был кожаный шлем и автомобильные очки с зелёными стёклами. Она сделала сильную «перегазовку», энергично переключилась со второй на третью передачу и резко свернула направо, на улицу Бонапарта.

Когда «торпеда» скользила по мокрой от дождя булыжной мостовой, Леон застрял руками и ногами между приборным щитком и пассажирской дверцей. В ногах у него валялся синий эмалированный котелок, слегка подкопчённый снаружи. Луиза управлялась с машиной точными быстрыми движениями, лицо её сияло.

– Перестань таращиться. Лучше смотри на улицу.

– Я не таращусь, я только смотрю. У тебя роскошная машина.

– Четыре цилиндра, без проблем разгоняется до шестидесяти километров в час.

– Я знаю, – сказал он. – «Торпеда» взяла пару лет назад Кубок Альп.

– Два раза подряд. Я подарила её себе к юбилею моей службы в банке Франции. Она была уценённая, из-за пары вмятин.

– Только название не очень подходит.

– Почему это?

– Потому что «торпеда» заострена впереди, а не сзади.

– Если хочешь, я могу ехать на задней передаче.

– Ты работаешь в банке Франции?

– Уже пять лет.

– Неплохо.

– Нет. Со мной там обращаются как с последней машинисткой.

– Почему?

– Потому что я и есть последняя машинистка. Целый день перепечатываю таблицы с калькуляциями, да ещё и по пять раз.

– Поэтому и «торпеда»?

– Именно так.

– На велосипеде больше не ездишь?

– Если мне куда-то надо, еду на машине. И если мне никуда

не надо, я тоже еду на машине.

– А если ты едешь на море?

– Тогда-то уж я точно еду на машине.

– Тогда почему я видел тебя в метро?

– Машина была в ремонте.

– Ты работаешь в главном офисе?

– На площади Виктории.

– А я уже десять лет сижу на набережной Орфевр. Это всего в паре сотен метров от тебя.

– М-да, – сказала Луиза. – Значит, мы с тобой несколько лет подряд просиживали задницы совсем рядом друг с другом. Вот незадача-то.

– Да.

– Давай немного помолчим. Выедем немного за город, если ты не против. Поговорим потом.

Луиза переключилась с третьей на четвёртую передачу и ехала на полном газу вдоль Люксембургского сада, потом дальше к югу мимо обсерватории по авеню д'Орлеан. Левую руку она опустила за окно и вела машину правой рукой, обгоняя конные повозки и автобусы слева и справа – где появлялось свободное место, а где дорога вела через перекрёсток, она на большой скорости маневрировала между прохожими, велосипедами и машинами. Если автобус или грузовик не уступал ей место, она давила на гудок и ругалась, скандалила и сыпала проклятиями, пока тот испуганно не шарахался в сторону, а потом, протискиваясь мимо него, она вытягивала руку из окна и показывала обгоняемому знак, который, в обычной ситуации – между мужчинами – привёл бы к драке.

Леон с восхищённым ужасом смотрел на смертельные препятствия, которые пролетали мимо «торпеды» то слева, то справа, и бросал косые взгляды на Луизу, которая теперь, поскольку движение стало уже не таким плотным, а дорога вела за город в луга и поля, откинула назад свою красивую голову и смотрела вперёд сквозь полуопущенные веки.

Кожаный шлем и автомобильные очки она сняла и отложила. В уголке губ у неё мелькало подобие улыбки, подбородок она выжидательно выдвинула вперёд, а в её шее появилось подобие мягкости, которой раньше не было. Тонкая складочка протянулась от ямки у неё под ухом к горлу, что придавало её ещё девическому облику вместе с серебряными нитями на висках женское достоинство. Вокруг её глаз играла подмигивающая чёрточка иронии, про которую Леону хотелось бы знать, то ли она относится к другим участникам дорожного движения, то ли к их внезапному совместному пребыванию в тесноте маленького

спортивного автомобиля. Теперь обе её руки лежали на руле. Леон заметил, что кольца у неё на пальце нет.

– А теперь уже хватит глазеть, – сказала она и сунула себе в губы сигарету. – Через полчаса мы остановимся и тогда сможем поговорить.

ГЛАВА 11

Лес Фонтенбло виднелся чёрной полоской под ночным небом, в долине ютились деревушки, в которых поздним вечером горели лишь одиночные огоньки. В *Relais du Midi*, которое стояло у просёлочной дороги между двумя безымянными селениями, шофёры дальних рейсов и коммивояжёры пили пиво, угольная печь посреди трактира распространяла инкубаторскую жару.

В углу у окна сидели, тесно прижавшись, Леон и Луиза. Он обнимал её правой рукой за талию, она положила голову ему на плечо и правой рукой держала его левую ладонь. В щели окна дуло холодным воздухом, дым её сигареты горизонтально тянулся к угольной печи.

– Мы до сих пор так и не поговорили, – сказал он.

– Разве тебе хочется говорить?

– Нет, – сказал он. – А тебе?

– Ну, немножко-то мы говорили.

– Но не о том.

– Нет.

– Только про машины.

– И про метро.

– И про Келлога и Фицмориса.

– И про юбки Шанель и дурацкие шляпки колоколом. И про твою консьержку и твои раздавленные клубничные пирожные.

– И про твою инфляцию и твой Банк Франции.

– И про слонов. Как там звучит анекдот со слонами?

– А ты всё ещё читаешь романы Колетт?

– Ах, она тупая корова. Никто никогда не разочаровывал меня так, как она. У меня кончились сигареты.

– А наверху есть?

– Только в машине.

– Я тебе принесу.

– Останься, – сказала она и пожала его руку. – Не уходи от меня. Пока не уходи.

Он привлёк её к себе ещё теснее и поцеловал.

– Я хочу есть, – сказала она. – Давай закажем, пока не закрылась кухня.

– Я возьму бифштекс с картошкой фри, – сказал он.

– Я тоже.

Леон подозвал хозяина и сделал заказ, потом он рассказал историю, чтобы рассмешить Луизу. То была история того клошара, который из года в год, изо дня в день сидел перед музеем Клюни и которому Леон каждое утро по дороге на работу

клал в шляпу монетку. От мужчины пахло красным вином, но он в большинстве случаев был чисто выбрит, и было заметно, что он старается держать в чистоте свою поношенную одежду. Они всегда приветливо здоровались и иногда обменивались парой слов, а на прощанье желали друг другу хорошего дня.

Раз в несколько месяцев случалось, что порог музейных ворот ранним утром, когда Леон шёл на работу, пустовал; тогда он тревожно спрашивал себя, не случилось ли чего этой ночью с клошаром. И когда позже днём он опять был на месте, Леон с облегчением махал ему рукой. За все годы он привязался к этому человеку; он беспокоился за него как беспокоился бы за своего двоюродного дядю, который хотя и не очень близкая родня, но всё-таки принадлежит к семье.

Правда, он не знал его имени, да и не хотел знать, и не хотел знать, где тот проводил ночи и есть ли у него родные; но с течением лет у Леона накопились некоторые сведения об этом человеке. Так он знал, что клошар питал слабость к гусиной печени, а зимой у него разыгрывался ревматизм тазобедренных суставов, и что когда-то у него была жена по имени Вирджиния и должность дьячка со служебной квартирой при церкви где-то в пригороде, пока он по своей или по чужой вине не лишился сперва жены или места или квартиры и кряду потерял также и остальные части этой мелкобуржуазной троицы, поскольку они существуют только в комплекте, но никак не поодиночке.

Клошар тоже ответно составил себе представление о Леоне; когда ходила волна гриппа, он осведомлялся о самочувствии потомства и драгоценной супруги, а когда в газетах главной новостью становилась смерть от отравления, он желал хороших результатов в лаборатории.

С течением лет клошар стал одним из важных для Леона людей; ибо помимо него было не так много тех, с кем он ежедневно обменивался парой слов и мог доверчиво полагать, что они настроены к нему благожелательно и без задней мысли. Этот клошар стал личным клошаром Леона. Если случалось, что у него на глазах деньги в шляпу клал другой прохожий, Леон испытывал чуть ли не ревность.

В октябре прошлого года так получилось, что клошара не было на обычном месте три дня подряд. На четвёртый день он нашёлся, и Леон с чувством облегчения пригласил его на кофе в ближайшее бистро. Там клошар рассказал ему, что четыре ночи назад, когда кусачий северный ветер стегал улицы Латинского квартала колючим дождём со снегом, он в поисках ночлега, сильно пьяный, попал в район Лионского вокзала и набрёл там на незапертый вагон для перевозки скота. Он отодвинул дверь,

поднялся в безветреную темноту, задвинул за собой дверь, укутался на соломе в своё одеяло и быстро провалился в глубокий сон.

Этот сон был так крепок, что он не проснулся, когда вагон для скота плавно тронулся с места, и продолжал спать, когда в утренних сумерках поезд, включая локомотив и двадцать пустых вагонов для скота, покинул Лионский вокзал и выехал из города в ином направлении; толчки и покачивания укачивали его, опьянённого несколькими литрами дешёвого красного вина. Весь день он провёл во сне, как грудничок в колыбели, в то время как поезд без остановок промерял бесконечные дали благословенной французской провинции. Клошар спал, пока поезд пересекал Бургундию с севера на юг, спал он и в виноградниках берега Роны, и когда поезд в вечерних сумерках проезжал мимо диких лошадей Прованса, спал он и в Лангедоке и Руссильоне и у подножия Пиренеев, и проснулся только на следующее утро с деревянной головой и шершавым языком, когда его вагон для скота уже давно стоял и успел основательно разогреться под солнцем юга.

Клошар выполз из соломы и вытер рукавом пот с лица, раздвинул двери и увидел – после того, как его глаза привыкли к ослепительному свету, – безлюдную и пустую станцию загрузки крупного рогатого скота, позади которой до горизонта тянулась равнина с дрожащим воздухом, пустая и голая, если не считать пары единичных кактусов. Он не сразу понял, что находится уже не в Париже и вовсе не на севере Франции, а где-то глубоко на юге, к тому же без денег и без документов и, предположительно, без знания местного языка.

Гонимый сильной головной болью и мучительной жаждой, он спрыгнул на каменистую насыпь и шёл часа полтора по рельсам в северном направлении, пока не дошагал до ближайшей станции, где ему босоногий смотритель шлагбаума в опереточной униформе на обрывках французского объяснил, что он находится недалеко от Памплоны на берегу реки под названием Арга.

Луиза смеялась. Потом принесли еду.

О тех выходных, проведённых в Ле Трепоре десять лет назад, они больше не говорили, как не говорили и о ночи на берегу, и бомбовом граде на следующее утро, а также о годах их разлуки.

А ранним вечером, когда они еще лежали в постели и в слабом свете уличного фонаря, ощупывая на телах друг друга шрамы от автоматных пуль, бомбовых осколков и хирургических скальпелей, Луиза рассказала ему, что её вытащил виноторговец из Метца, который тоже попал под бомбёжку, и в своём лёгком фургончике отвёз её в Амьен, в женский госпиталь, где она после

неотложной операции ещё целый месяц лежала в палате для безнадёжных, подхватила там воспаление лёгких и ещё «испанку», и выписали её только спустя полгода после окончания войны, и то недолечённую.

Она тогда подалась прямиком в Сен-Люк-на-Марне, пришла там к мэру, и он обрадовался ей и, не увиливая, рассказал, что несколько месяцев назад сюда заглядывал Леон и, к счастью, на вид был вполне здоров; сидел, дескать, в этом самом кресле, в котором теперь сидела Луиза, и рассказывал о своём ранении, но потом вдруг заторопился, вскочил и исчез навсегда.

Когда Луиза спросила мэра, не знает ли он, часом, адрес Леона, тот с сожалением пожал плечами, а когда она, преодолев свой стыд, всё-таки захотела узнать, не спрашивал ли Леон о ней, то мэр, поглаживая её руку, скорбно покачал головой и сделал глубокомысленное замечание о легкомыслии молодёжи в целом и неверности парней в частности.

Когда Леон после ужина заказал два кофе, хозяин демонстративно покосился на стенные часы, а подав чашки, с портмоне в руках прошёлся по всему залу, составляя свободные стулья ножками кверху на столы. Леон и Луиза разговаривали тихо и смотрели друг на друга внимательно, как будто состояли в трудных переговорах о веском решении большого значения; притом что говорили они о пустяках и тщательно избегали всего тяжёлого и значительного.

Сперва Леон рассказал о гигантском дирижабле, который недавно пролетал на набережной Орфевр мимо его окна на расстоянии вытянутой руки, потом Луиза рассказала, что её «торпеда» на обратном пути из Ле Трепора заглохла и пришла в движение только после того, как Луиза промыла воздушный фильтр от сельской пыли пригоршней бензина из запасной канистры. После этого они обсудили преимущества и недостатки асфальтированных и мощёных дорог, а потом Луиза заговорила о том, что её дорога на работу проходит по свежемощённой площади Клиши, на которой, кстати, проститутки после войны почти все носят траурные платья; она хотела знать, действительно ли все они, по мнению Леона, – вдовы павших на войне. Вполне возможно, ответил Леон, немного удивлённый, на что Луиза ответила, что ей хотелось бы надеяться, что так оно и есть; так как если правдой окажется другое единственно возможное объяснение – а именно: что вдовье маскарадное убранство шлюх способствует обороту, поскольку вернувшиеся с войны солдаты находят удовольствие, воображая, что трахают жену павшего товарища, – то ей всю оставшуюся жизнь никогда больше не захочется иметь никаких дел с мужчиной. Леон сказал,

что не может об этом судить, поскольку не знает ни проституток с площади Клиши, ни психологии вернувшихся с войны солдат в статистически релевантном числе; но что он точно знает, что сам он ни при каких обстоятельствах не нашёл бы в этом удовольствия.

– Это я знаю, – сказала Луиза и быстро рассказала, как её однажды в дождь на площали Ль'Этуаль понесло юзом, и она чуть не въехала на могилу Неизвестного солдата под Триумфальной аркой.

Вскоре после полуночи «торпеда» уже снова была на дороге. Теперь Луиза ехала медленно, и Леон поглаживал её затылок, глядя вперёд, на дорогу в двух конусах жёлтого света фар. Они больше не разговаривали, а долго молчали. Потом Луиза откашлялась и сказала неожиданно твёрдым тоном:

– Послушай, Леон, через час мы снова будем в Париже. Ты должен мне кое-что пообещать.

– Что именно?

– Я не хочу, чтобы ты подстерегал меня.

– Что?

– Ты меня прекрасно понял. Мы не будем видеться, это не имеет смысла и ни к чему не приведёт. Ты не знаешь, где я живу, и я тебе не скажу. Но ты знаешь, где я работаю.

– И что?

– Не прикидывайся дурачком, тебе это не к лицу. Я не хочу, чтобы ты слонялся у банка Франции, чтобы увидеть меня. Ты не будешь ошиваться ни на улице Риволи, ни на площади Виктории. Ты не натравишь на мой след полицейскую ищейку, ты не столкнёшься со мной невзначай на овощном рынке, где я буду покупать фунт картошки, и ты не окажешься случайно в кино, когда я пойду в кино. Ты никогда не будешь это делать, пообещай мне!

– Бывают случайности, – сказал Леон. – Париж не такой большой город, как иногда кажется, знаешь? Всегда может так случиться, что столкнёшься на улице. В метро, на дороге, у мясника…

– Не мели чепухи, – резко сказала она. – У нас нет на это времени. Ты должен мне обещать, что ты не будешь делать глупости. Никогда, ни разу. Если так случится, что мы столкнёмся на улице, мне бы хотелось, чтобы мы поздоровались на ходу, не останавливаясь. Я со своей стороны обещаю тебе, что ноги моей никогда не будет на улице Эколь и никогда на набережной Орфевр. Бульвар Сен-Мишель я не могу целиком предоставить тебе, мне там приходится иногда ходить.

– Мне тоже. Дважды в день. Как минимум.

– Будь мужчиной, Леон. Обещай мне это. – Она сняла свою правую руку с руля и протянула ему: – Обещаешь?

Леон повернулся к Луизе и улыбнулся, словно бы говоря: пойми же меня! Потом взял её руку, выглянул наружу в боковое окно и сказал:

– Нет.

Ещё несколько секунд Луиза молча ехала прямо сквозь ночь, потом затормозила и поставила рычаг переключения передач в нейтральное положение, и когда машина остановилась, она потянула на себя ручной тормоз, вышла из машины и, обойдя её впереди, остановилась перед пассажирской дверцей.

– Перелезай за руль, сейчас поедешь ты!

– Луиза, я ещё никогда…

– Давай-давай!

– Я не умею водить машину.

– Тогда будешь учиться прямо сейчас, перелазь! Отсюда машину поведёшь ты, иначе мы будем болтать бесконечно, ещё, глядишь, и расплачемся. Вот педаль газа, а вот тормоз, о переключении скоростей первое время позабочусь я. А сейчас дай немного газу, только чуть-чуть, да, так, а теперь убирай ногу с педали и выжимай сцепление, видишь, вот первая передача, я отпускаю ручной тормоз, а ты медленно убираешь ногу с педали сцепления и одновременно мягко прибавляешь газ, мягко, мягко…

После того, как они дошли до третьей передачи, Леон держал скорость пятьдесят километров в час и ехал посередине просёлочной дороги сквозь ночь в сторону севера, навстречу городу. Он на пробу выключил фары и снова включил, нажал на гудок и высунул левую ладонь из окна, подставив её встречному ветру; теперь на повороте Луиза подхватила руль и помогла ему вписаться в поворот, а когда дорога пошла в горку, она схватилась за рычаг переключения передач и перешла на более низкую передачу. На одном из последних взгорков перед окраиной города на северо-западе показалась, блистая цепями огней, Эйфелева башня, а на северо-востоке над чёрной полоской леса поднялась луна.

– Смотри, – сказал Леон, – как раз полнолуние. Знаешь, что это означает?

– Что?

– Это означает, что луна в это самое мгновение находится на том самом месте в Солнечной системе, где мы находились четыре часа назад.

– Что?

– Планета Земля ровно четыре часа назад находилась на том

месте, на котором сейчас находится луна.

– Мы были четыре часа назад там, наверху?

– В точности там, наверху… – Леон бросил взгляд на свои наручные часы – …четыре часа назад я оторвал последнюю пуговку твоей блузки.

Некоторое время они ехали сквозь ночь молча, рассматривая через лобовое стекло луну.

– За это время она немного переместилась, – сказал он. – Сейчас она на том месте, где я твои трусики…

– Оставь в покое мои трусики, – перебила она.

Леон объяснил Луизе, что в момент полнолуния земля, луна и солнце образуют в точности прямой угол, что означает, что луна на своей орбите вокруг солнца, так сказать, телепается позади земли, причём на расстоянии трёхсот восьмидесяти четырёх тысяч километров и движется со скоростью сто тысяч километров в час.

– Это означает, что мы ровно четыре часа назад были в той точке и что через четыре часа луна будет тут, где мы сейчас.

– Четыре часа? – сказала Луиза. – Погоди, я прикину. – Она запрокинула голову и смотрела в небо, в то время как «торпеда», мерно постукивая, скользила сквозь темноту. Через некоторое время она сказала: – И правда. Три часа, пятьдесят две минуты и несколько секунд. Это при растущей или убывающей луне?

Леон ошеломлённо рассмеялся, потом беспомощно прижал подбородок к груди:

– Понятия не имею. Наверное, зависит от того, где находится наблюдатель – к северу или к югу от экватора.

– Ерунда. По крайней мере в астрономическом значении все люди братья.

– В любом случае есть две возможности: либо луна плетётся за нами в хвосте на дистанции в четыре часа, либо она опережает нас на четыре часа.

– Тогда она сейчас находится там, где мы окажемся через четыре часа.

– Я этого знать не хочу, – сказал Леон. – Давай будем считать, что она гонится за нами.

– Шансы пятьдесят на пятьдесят, – сказала Луиза. – А сейчас где находится луна?

– На том месте, где я нёс тебя от стола к кровати.

– И по пути мы зацепились за вешалку.

– За крючки для одежды.

– Они были хило закреплены.

Некоторое время они в тишине рассматривали луну, которая на удивление быстро поднималась от горизонта.

– Собственно, для путешествия на луну даже не требуется ракета, – сказала Луиза. – Просто нужно четыре часа оставаться на месте и никуда не двигаться.

– Просто подпрыгнуть, зависнуть в пустоте и дать земле уплыть из-под ног.

– И дождаться луну.

– И тогда опуститься.

– Скажи, Леон, где луна сейчас?

– Там, где лампа упала с ночного столика и разбилась. И ты как раз начала шептать моё имя.

– Ты самонадеянный франт.

– Я и сейчас это слышу, – сказал Леон. – И носом тоже чую. Я чувствую нас обоих. Принюхайся.

Она понюхала его шею, его плечо, а потом свою руку.

– Мы пахнем совершенно одинаково.

– Наши запахи смешались.

– Я хочу, чтобы так и оставалось.

– Навсегда.

Луиза засмеялась:

– А сейчас ты этого не сделаешь, а? – Она расстегнула у него нижнюю пуговицу и запустила правую руку под рубашку. – Ты очень доволен собой и считаешь себя очень крутым, так?

Леон кивнул.

– Но знаешь ли ты, властелин мира, где у этой машины тормоза?

– Я умею дать газ, включить свет и посигналить. Тормозить я даже уметь не хочу.

– Зато я хочу. Жми на тормоз, ты, венец творения. Прямо сейчас, тут. Быстро, давай же. Сбрось газ, выжми сцепление, а сейчас рычаг переключения передач. Нет, не этот, это ручной тормоз, а теперь тормози, прямо рядом с педалью газа. Сверни вправо. Ну, давай, действуй. Быстро.

Пока Леон управлялся с рулём, сцеплением и тормозом, она его целовала и срывала с него одежду, пока машина, виляя и неловко подпрыгивая, не остановилась. Мотор тихо шипел под капотом. Вдали кричала сова. В ложбине перед окраиной города лежал туман. Они достали из багажника два шерстяных одеяла и, тесно прижавшись друг к другу, пошли к краю леса, где в мягкой траве между двумя кустами любили друг друга в лунном свете до утренних сумерек.

ГЛАВА 12

В следующие одиннадцать лет, восемь месяцев, двадцать три дня, четырнадцать часов и восемнадцать минут Луиза и Леон не виделись и ничего не слышали друг о друге. Леон Лё Галль держал своё неданное обещание и никогда, ни разу не приближался к банку Франции, не предпринимал бессмысленных поездок на метро и не слонялся без дела по бульвару Сен-Мишель.

Правда, было неизбежно, что по утрам он шёл на работу, а вечером снова домой, и по дороге он не зажмуривал глаза, а держал их открытыми; так что не могло совсем не случиться того, чтоб сердце у него не забилось чаще при виде пары зелёных глаз на бульваре Сен-Мишель или при виде затылка, над которым копна тёмных волос была отхвачена от уха до уха. И ещё годы спустя он вздрагивал, если из-за угла выворачивал «рено-торпеда» или если в метро в углу вагона стояла женская фигурка в плаще и курила.

Однажды он в рабочее время покинул лабораторию, поднялся на крышу дворца правосудия и нашёл среди стропил, чёрных от столетней пыли и белых от паутины, люк, который открывался в сторону северо-запада. Он открыл это слепое окно и, к своему успокоению, убедился, что вид в сторону банка Франции хотя и был свободен до другого берега Сены, но дальше перекрывался несколькими рядами домов.

Однажды, в четверг вечером, по пути домой у него на глазах на площади Сен-Мишель за круглым киоском скрылась фигурка, в которой он на долю секунды без сомнений опознал Луизу. Он бросился к киоску и дважды обежал его, оглядывая всех удаляющихся прохожих, потом развернулся и ещё раз обежал киоск в другом направлении, но фигурка загадочным образом так нигде и не обнаружилась, как будто испарилась или через тайный люк скрылась под землю.

Ночью, перед тем, как заснуть, Леон мысленно вновь и вновь переживал поездку на «торпеде», часы, проведённые с Луизой в *Relais du Midi*, и тот остаток ночи до рассвета на опушке леса в пределах видимости Эйфелевой башни. Он с удивлением замечал, что его воспоминания с течением недель, месяцев и лет не тускнели, а даже наоборот становились живее и сильнее. Год от года всё жарче он ощущал её губы на своей шее, и всё сильнее его пробирала дрожь при мысли о том, как она шептала ему на ухо: «Вот здесь меня потрогай, здесь»; слаще, чем тогда, ему казался её запах, и совсем реально он чувствовал под своими

ладонями её гибкое, мускулистое, но и неподатливое и требовательное тело, которое было совсем другим, чем тёплая, мягкая покорность его жены; он сохранял в сердце то ощущение, которое было у него с Луизой: то чувство единства и честности с собой и с миром и ограниченности времени, отпущенного человеку.

Изо дня в день он добросовестно ходил на работу, а вечером шутил со своей женой и был нежным отцом своим детям; но по-настоящему он оживал только когда предавался своим воспоминаниям, как старик. Внешне он не очень изменился за те двенадцать лет, что прошли со времени поездки с Луизой; он не потолстел и не похудел, и хотя полысел со лба, тело его в сорок лет было таким же, как десять или двадцать лет назад.

Но молодым человеком он уже не был, недавно он это почувствовал. У него ещё ничего не болело, он ещё не был склонен к унынию, и память его ещё не ослабела, и он всё ещё волновался при виде красивых женских ног. И тем не менее, он чувствовал, что его солнце уже перевалило через зенит. И он больше не хотел казаться молодым и не испытывал потребности сделать себя интересным блестящими гамашами или залихватским котелком; недавно он впервые купил классический твидовый костюм и во время примерки с удивлением и немного забавляясь обнаружил, что он в нём как две капли воды похож на отца своего детства.

Его жена Ивонна не жаловалась. Когда он в то воскресное утро в последний раз поцеловал Луизу на площади Сен-Мишель, вышел из «торпеды», и поплёлся на улицу Эколь, как приговорённый к смерти плетётся к эшафоту, она сделала вид, что он вовсе не отсутствовал всю ночь дома, а всего лишь выходил в булочную или сбегал отнести на поглажку к мадам Россето свои рубашки. Дверь квартиры стояла открытой, из кухни доносился аромат кофе, а когда он взял её за руку и хотел приступить к объяснениям, она отняла руку и сказала:

– Оставь, мы оба всё хорошо знаем. Не надо зря тратить слова.

К безграничному удивлению Леона они провели потом безмятежно приятное воскресенье, как счастливейшая из семей, гуляли в молочном свете ноября по Ботаническому саду и показывали маленькому Мишелю чучела мамонта и саблезубого тигра в естественно-историческом музее, ели лимонное мороженое в *Brasserie au Vieux Soldat* и дали своему сыночку покататься верхом на мотоцикле на карусели, которая стояла у входа в Люксембургский сад, и всё это время Ивонна на нём висела и следовала каждому его движению, по-кошачьи прильнув

к нему своим мягким бедром беременной, как будто у них двоих с незапамятных времён были в жизни одни и те же цели, одни и те же намерения и желания.

Поначалу Леона сбило с толку отсутствие неизбежной драмы. С одной стороны, он дивился великодушию Ивонны, а с другой стороны, тому, что он так быстро изменил своей измене; но потом он понял, что Ивонна победила тем, что присвоила его похождение, сделав его эпизодом их брака. И его новая встреча с Луизой впредь не будет стоять между ними разделительной стеной, а свяжет их общим воспоминанием. По крайней мере, ему стало понятно, что это великодушие зиждется, в конечном счёте, на жестокой неумолимости: на уверенности, что Ивонна на веки вечные принадлежит ему, и что такому высоконравственному человеку, как Леон, во времена кризиса и инфляции в католической стране – такой, как Франция – было бы невозможно оставить своего первенца и свою богоданную, беременную на пятом месяце жену лишь на том основании, что он хотел искать счастья рядом с другой женщиной.

И действительно, для Леона было так естественно, что он остаётся с Ивонной, что это даже не было долгом; ему даже не нужно было раздумывать об этом. Они останутся вместе и никогда не разведутся, поскольку для финальной катастрофы им обоим, во-первых, не хватает не то чтобы страсти, но необходимого количества бессовестности и эгоизма, присущего супружеским драмам при всём благородстве чувств; во-вторых, их брак при всей отчуждённости и дистанции носил братское чувство привязанности, благожелательности и уважения, в котором они никогда друг другу не признавались; в третьих, так получилось, что самую важную связь, которая скрепляет большинство пар сильнее всего – страх перед голодом и нуждой в одиночестве неотапливаемой мансарды, – они ещё ни разу по-настоящему не ощутили.

Было уже темно, когда они вернулись со своей воскресной прогулки домой. Они ели в кухне ветчину, глазунью и хлеб, потом уложили маленького Мишеля спать и тоже отправились в спальню. Под одеялом они в печальном счастье были так близки друг к другу, как давно уже не были, и Леон чувствовал себя, как бы тяжело ни было у него на сердце, связанным со своей женой судьбоносно. Но когда он придвинулся к ней ещё ближе и завернул ей подол ночной рубашки, она сказала:

– Нет, Леон. Это нет. Теперь больше нет.

На следующее утро он отправился на работу как в тысячи других утр перед тем. На газоне в парке напротив лежал иней, улицы были мокрые, платаны чёрные, а под корнями деревьев

грохотало метро. На Рождество 1928 года он купил Ивонне на Реннской улице – пустив в дело всё сэкономленное – браслет с жемчужинами, на который она в последние месяцы – стараясь, чтобы он не заметил, – мимоходом безнадёжно бросала алчущие взгляды. После тёплого, как весной, Сильвестра наступила суровая зима 1929 года; в начале февраля, когда Ивонна родила здорового мальчика по имени Ив, на улице Эколь всё ещё лежал смёрзшийся, чёрный от угольной сажи снег.

Три месяца спустя в одно пятничное утро во время похода на рынок Шербурга за «морским волком» для ужина неожиданно умерла мать Леона. Она как раз принимала из рук продавщицы завёрнутую в газетную бумагу рыбу, как вдруг в её дельном мозгу, безупречно функционировавшем пятьдесят восемь лет, сгусток крови закупорил какую-то крайне важную артерию. Она сказала: «Ой, что такое!» – схватилась левой рукой за висок и, падая на мокрую, пахнущую рыбной ледяной водой мостовую, увлекла за собой с прилавка корзину, полную устриц. Когда продавщица, напуганная смертельной бледностью лица своей покупательницы, во всё горло заорала, чтобы вызвали врача, мать Леона отмахнулась и сказала деловитым тоном: «Оставьте, не нужно. Лучше вызовите полицию, она и известит врача и…» После чего закрыла глаза и рот, как будто теперь уже всё увидела и всё сказала, прилегла в сторонке и была уже мёртва.

Погребение состоялось бурным весенним утром, когда в воздухе словно снежные хлопья кружили лепестки цветущей вишни. Леон стоял у разверстой могилы и удивлялся, что ритуал проходит без сучка и задоринки – насколько же до обидного просто похоронить человека, который всё-таки всю свою жизнь был любим, ненавидим или хотя бы необходим, и вот он зарыт, дело его закрыто, и сам он без особых трудов устранён из повседневности.

На следующий день Леон уехал, хотя была ещё только суббота и он мог бы остаться. Он сам себе удивлялся, что так спешил вернуться в Париж, и сердился на себя, что, заикаясь, давал отцу объяснения, словно шестнадцатилетний школьник, прогулявший уроки; лишь позднее ему стало ясно, что со смертью матери его юность окончательно завершилась и что мужчину, которым он теперь был, больше ничто не связывало с Шербургом.

Ивонна оставалась с мальчиками на пару недель в Шербурге, чтобы помочь овдовевшему свёкру при ликвидации хозяйства и переезде в квартиру поменьше недалеко от порта.

По возвращении в Париж она привезла с собой новую привычку, которая поначалу смутила Леона. Она состояла в чёрной клеёнчатой тетради с разлинованными красным цветом

страницами, в которую она по утрам, перед тем как встать с постели, записывала свои сны. Леон заподозрил, что клеёнчатая тетрадка является предвестником новых супружеских турбуленций; но поскольку ничего такого не происходило, он истолковал это как запоздалые последствия родов или как повторные толчки землетрясения его внебрачного приключения.

Ивонна со своей стороны не делала тайны, но и не делала события из своей тетрадки, которая всегда лежала на виду на её ночном столике; поэтому Леон некоторое время предполагал, что там могут быть сигналы, адресованные ему. И он взял эту тетрадь в руки, когда Ивонны не было дома, и полистал её. «Ночная поездка на поезде через заснеженный зимний ландшафт, – гласила одна запись, – что-то с лошадью, потом папа на диване». Потом под другой датой: «Леон упражняется в стрельбе в саду – что за сад, откуда пистолет, и во что он стреляет?» Или: «Я с малышами в метро. Дырка в чулке, Ив орёт как резаный. Злые взгляды в нашу сторону. Ужасно стыдно. Поезд бесконечно едет дальше по чёрному туннелю, хочет и не хочет остановиться. Назад в лоно матери земли?»

Так или похоже звучали обрывки, которые памяти Ивонны удалось пронести в состояние пробуждения. В некоторые дни там стояло только: «Ничего, совсем ничего. Разве так бывает, чтобы всю ночь просто было темно?» Леон честно силился развить в себе интерес к ночным движениям души супруги, и поначалу он пытался также интерпретировать символы и метафоры, значение которых было главным образом поразительной очевидностью, и сделать выводы насчёт душевного здоровья Ивонны, состояния их брака и того образа его самого, который создала себе Ивонна. Но поскольку он не узнал ничего нового, со временем он пришёл к заключению, что сны были ничем иным, как продуктами выделения душевного обмена веществ, взирать на которые с любопытством могло быть какое-то время занимательно для очень юной девушки; но что его Ивонна, будучи взрослой женщиной, окажется столь падкой до своих ночных сновидений, очень неприятно его удивило.

В июле 1931 года маленький Ив, который и после двух лет ещё долго не произносил ни слова – причём действительно ни слова, ни «мама», ни «папа»», из-за чего их домашний врач уже тревожно морщил лоб, – наконец громко и отчётливо, с протяжными гласными и однозначно парижским гортанным «р» артикулировал красивое слово «рокфор».

В то лето, к тому же мировой экономический кризис с некоторым опозданием начал свирепствовать и во Франции, и *Судебная полиция*, подчиняясь министерскому приказу экономии,

должна была сократить двадцать процентов своего персонала; Леон избежал увольнения, потому что у него на иждивении было двое маленьких детей, а его жена, которая недолго смогла продержать свой отказ от супружеской постели – из природной доброты, из радости прощения, а также из собственной потребности, в третий раз была беременна.

В апреле 1932 года родился третий сын, который был крещён именем Роберт, и когда на вторые июльские выходные начались большие летние каникулы, отец Леона в Шербурге вышел на пенсию, после ровно сорока лет работы в школе в одном и том же классе, на том же самом стуле, за той же самой кафедрой. Десять дней спустя он положил конец своей одинокой жизни вдовца прямо-таки агрессивно предупредительным образом – тайком приобретя себе гроб подходящего размера и установив его в своей комнате. Он натянул на себя белую ночную рубашку и выпил хорошую дозу касторового масла, а после того, как основательно опорожнился в туалете, он проглотил достаточное количество барбитурата и лёг в гроб. Потом положил над собой крышку, закрыл глаза и сложил на груди руки. Дворничиха обнаружила его на следующее утро. На гробу лежала сложенная записка, адресованная ей, с пятифранковой купюрой, которая была призвана компенсировать её ужас, а также нотариально заверенное завещание, которое улаживало все наследственные дела и устанавливала все детали уже организованного и оплаченного погребения. Ивонна опять-таки провела лето с детьми в Шербурге, чтобы оформить себе во владение квартиру свёкра в качестве отпускного жилья и вступить в права наследства, которое оказалось по-настоящему богатым; после вычета всех расходов для Леона и Ивонны осталась хорошая финансовая мягкая прослойка в Сосьете Женераль в размере нескольких месячных зарплат, которые помогли им – поскольку они обошлись с ними с умом – продержаться десятилетия с минимальными колебаниями и на скромном уровне вести беззаботную в финансовом отношении жизнь.

Незадолго до возвращения в Париж Ивонна во время прогулки по пляжу познакомилась с черноглазым красавчиком по имени Рауль, у которого не было постоянной работы, который через несколько минут попросил у неё денег и имел смелость вечером, когда дети спали, явиться в почти пустую квартиру её умершего свёкра. В тот же вечер она переспала с ним, равно как и в следующие два вечера, вытворяя при этом то, чего никогда бы не сделала с Леоном в супружеской постели.

По дороге домой в Париж она горько корила себя и пыталась понять, что это было: супружеская измена из мести за

приключение Леона с Луизой или проявление женского тщеславия и страха перед старением; поскольку из одной только похоти это не могло быть, ведь уже после первого раза ей стало понятно, что это не стоит усилий. Ещё при въезде на вокзал Сен-Лазар она была убеждена, что надо обо всём рассказать Леону; но когда увидела его на перроне, такого доверчивого с его голубыми глазами и в помятом за два месяца соломенного вдовства костюме, она не смогла переступить через себя и бросилась к нему, ища спасения в объятии, продолжительность и сокровенность которого должна была бы смутить Леона. Пройдёт ещё почти тридцать лет, пока она, перед лицом смерти, сознается ему в своём проступке, который так и остался единственным.

В мае 1936 года выборы выиграл Народный фронт, и Леон впервые получил оплачиваемый отпуск. Он поехал с мальчиками и Ивонной, которая незадолго перед этим разрешилась девочкой по имени Мюрьель, на две недели в Шербург, где он, правда, больше не встретил друзей своей юности, а напротив, арендовал парусный ялик и выезжал с семьёй на острова; Ивонна все эти две недели пребывала в тайной тревоге, как бы не возник где-нибудь красавчик Рауль, и вздохнула свободно только когда они сидели в поезде на Париж.

Однажды вечером в апреле 1937 года на улице Эколь царило большое волнение. То было время перед ужином, когда мадам Россето с криком бегала по дому в поисках двух своих дочерей, которым было четырнадцать и семнадцать лет и которые бесследно пропали, прихватив с собой своё постельное бельё, одежду и материнские сбережения в банке из-под сахара, которую она хранила в кухонном шкафу.

В январе 1938 года Леона Лё Галля назначили заместителем директора лаборатории научной службы *Судебной полиции*, а 1 сентября 1939 года, в тот день, когда Германия напала на Польшу, ему в Сальпетриере сделали операцию по устранению геморроя.

Тот день, в который Луиза впервые прислала ему о себе весть, начался как один из самых причудливых дней в истории Франции. Была пятница, 14 июня 1940 года. Та первая весна после начала войны, которой в Париже пока что никто почти не заметил, была необычайно хороша и полна радости жизни. Весь апрель женщины – в то время, как на востоке уже снова гибли тысячи молодых людей, – носили под ярко-голубым небом короткие юбки в цветочек, распускали по плечам волосы, а уличные кафе были полны до поздней ночи, потому что бульвары пылали от тепла накопленного солнечного света, как будто под булыжниками мостовой скрывалось гигантское теплокровное

существо с неслышно-мягким дыханием.

Из радиоприёмников Люсьен Делиль тоскливо пела свою *Серенаду без надежды*, в галерее Лафайетт и у Самаритян покупатели давились за белыми полотняными костюмами и пляжными нарядами; повсюду в воздухе висел оглушительный аромат дорогих духов из крошечных флаконов, и при наступлении темноты в парках тени влюблённых сливались с тенями цветущих платанов и каштанов. Конечно, в перерыве между двумя поцелуями или между двумя стаканчиками мысли могли зайти и о битвах на востоке; но разве от этого выпивали на стаканчик меньше, дарили друг другу одним поцелуем меньше, танцевали одним танцем меньше? Разве этим можно было кому-нибудь помочь?

Сладкая мечта этой весны резко оборвалась, когда выяснилось, что линия Мажино на сей раз не удержит варваров. После 10 мая бельгийцы и люксембуржцы бежали десятками тысяч от стальных стрекоз Люфтваффе и от бронированных динозавров немецких танковых бригад, которые в устрашающем темпе и с оглушительным грохотом, словно праисторические бедствия, напали на страну и распыляли свой свинцовый яд над потоками беженцев; когда танковые колонны прорвались и сквозь укрепления Седана, в Париже было введено положение «спасайся-кто-может», которому первыми последовали правительство и его генералы и министры, а также промышленники, которые, удирая, прихватили с собой зарплаты рабочих; за ними следовали парламентарии, чиновники и прихлебатели, дипломаты, коммерсанты и лизоблюды, равно как и осколки армии, а затем и изящный мир журналистов, художников и учёных, которые во имя гуманизма и интересов будущего чувствовали себя также обязанными всеми средствами и в первую очередь спасать собственную шкуру.

С ними к югу бежали женщины, дети и старики – сотнями тысяч, в переполненных вагонах и на забитых дорогах, пешком и на велосипедах, в такси и на машинах, которые за недостатком горючего были прицеплены к воловьим упряжкам, бампер к буферу, с матрацами, велосипедами и кожаными креслами на крышах, на лошадиных повозках, в кузовах грузовиков и на ручных тележках, на которых громоздился весь инвентарь всего ремесленного киоска, весь товар мелочной лавки и вся домашняя утварь.

Через три недели поток беженцев иссяк, Париж на две трети обезлюдел. Остались только богатейшие из богатых и беднейшие из бедных, а также те, чьё дезертирство было запрещено законом по профессиональным причинам: работники больниц и

финансового и налогового управлений, служащие почты, телеграфа и метро, персонал электротехнических и газовых предприятий, а также пожарные и двадцать тысяч сотрудников полиции.

Так Леон изо дня в день ходил в лабораторию, как будто ничего не случилось, тогда как газеты писали об отступлении в портовый Дюнкирхен, о коллапсе железнодорожного сообщения, о капитуляции бельгийского правительства. Из комиссариата к нему в лабораторию поступала та же работа, что и в мирное время: миндальный торт, пропитанный синильной кислотой, шампанское с крысиным ядом, бледная поганка в ризотто с белыми грибами. Хоть Париж и опустел на две трети, случаев подозрения на отравление, к его удивлению, было не меньше, а даже существенно больше; как казалось, в часы хаоса и массовой паники некоторые отравительницы совершали тот шаг к делу, на которое в стабильные времена у них не хватало отваги.

Но в понедельник, 10 июня 1940 года профессиональная рутина моего деда резко оборвалась. Когда он, как обычно, в восемь пятнадцать появился на работе, набережная Орфевр была черна от служащих *Судебной полиции*, жандармы в форме, гражданские инспекторы, полицейские химики, судебные медики и конторские работники расстроенно стояли в утреннем солнце маленькими группами, секретничая между собой, или читали газеты в тени козырьков перед входом в здания. Двери были заперты, внутри здания горел свет.

– Что случилось, почему никто не заходит внутрь? – спросил Леон молодого коллегу, которого поверхностно знал по совместному кофе.

– Понятия не имею. Якобы бюро 205 убирают.

– Министерство позора?

– Кажется, да.

– Оно будет закрыто?

– Нет, только архив эвакуируют.

– Всю заграничную картотеку?

– Работы будет нешуточно. Нам тоже придётся помогать.

– Ну помогайте. А у меня в лаборатории полно своей работы.

– Твоей работы сегодня не будет. Чрезвычайный приказ. Все отделы приостанавливают обычную службу и должны помогать.

– Тоже хорошо. По крайней мере, архив не достанется нацистам. Акт человечности.

– Какая там человечность, в задницу! – сказал молодой коллега и швырнул свой окурок в Сену. – Они всего лишь хотят обезопасить свою картотеку, вот и всё.

– От нацистов?

– Они боятся, что немцы нарушат порядок в бюро 205. Тогда как это оказалось не под силу даже французам.

– Скажи на милость.

– Да.

– Ну вот сам увидишь.

– Бюро 205 любило порядок ещё сильнее, чем немцы.

Иностранный сервис в бюро 205, отделе контроля за иностранцами и беженцами, добился своей известности как Министерство позора далеко за пределами страны. Отдел состоял из сотни мелких клерков, чьей исключительной задачей было вести слежку за всеми беженцами и изгнанниками, которые искали убежища в стране прав человека, контролировать их и изводить, делая их путь к разрешению на длительное пребывание как можно более тяжёлым. Вызванный к жизни с благородной мотивацией как организация помощи людям, выброшенным на берег Первой мировой войны, иностранный сервис в сердце *Судебной полиции,* будучи якобы самостоятельным, без чьего-либо содействия разросся до состояния Молоха, питавшегося кровью тех, кого он должен был вообще-то защищать, и чьей высшей целью было всегда знать всё про каждого, кто не был чистокровным франко-французом.

Самые дорогие отели Парижа и самые захудалые пригородные пансионы должны были ежедневно слать в бюро 205 сведения о своих жильцах, каждый работодатель должен был сообщать о своих иностранцах, каждый судебный орган делал служебные уведомления, и каждый анонимный доносчик находил здесь открытое ухо у добросовестных служак, которые любую клевету тщательно записывали в карточку картотеки и на все времена вносили в регистр.

Были миллионы красных карточек для регистрации иностранного населения по трассам дорог, миллионы серых карточек для учёта по национальностям, миллионы жёлтых карточек для политической информации; на евреев, коммунистов и масонов велись отдельные карточки. Карточки были столь многочичленны, что их должны были сводить воедино в центральном регистре, и все эти карточки и регистры методически откладывались в отделе 205 в деревянные ящики и подвесные регистратуры на стеллажах под потолок, которые покрывали все стены обширного зала.

Снаружи перед дверью бюро 205 стояли длинные скамьи для ожидания, вытертые до блеска штанами сотен тысяч польских евреев, немецких коммунистов и итальянских антифашистов, которые все эти годы проводили здесь многие часы, дни и недели в трепетной надежде, что наконец-то выкрикнут их имя и их

впустят в бюро 205, где маленький клерк за письменным столом с недоверием оглядит их поверх своих очков, проконсультируется с красными и серыми карточками и после долгого наморщивания лба, может быть, милостиво поставит печать и – пожалуйста, пожалуйста – продлит разрешение на их пребывание ещё на одну неделю или месяц.

Колокола Нотр-Дама как раз пробили половину девятого, когда на набережную Орфевр подъехал чёрный «ситроен» с передним приводом. Пассажирская дверца распахнулась, и оттуда вышел Роже Ланжерон, префект полиции Парижа. Он обратился через мегафон поверх крыши машины к толпе собравшихся мужчин.

– Господа, я прошу вашего внимания. Спецзадание всем служащим Судебной полиции по законам военного времени. Всем подняться по лестнице Ф на второй этаж, быть в полной готовности в вестибюле перед бюро 205! Поторопитесь, если можно вас попросить, время не терпит. Немцы стоят уже перед Компьеном!

Леон поднялся рядом с молодым коллегой по лестнице Ф на второй этаж и сел в вестибюле на скамью ожидания. Дверь в бюро 205 стояла открытой. В зале, который в остальное время был знаменит своей монастырской тишиной и прямо-таки машинной точностью рабочего процесса, царила гудящая толкотня, как на блошином рынке. На высоких лестницах стояли мужчины в нарукавниках и вытягивали с верхних полок ящики картотеки, которые передавали вниз другим мужчинам в нарукавниках, а те сносили их к большому письменному столу посреди зала, за которым сидел лично префект полиции. Он проверял каждый ящик и потом отодвигал его либо к правому, либо к левому концу своего стола. То, что шло налево, подлежало немедленному уничтожению, а направо шли ящики, которые необходимо было перевезти в безопасное место.

У обоих концов стола образовались цепочки из людей, через которых картотеки транспортировались дальше. Они вели параллельно друг другу в вестибюль к лестнице Ф и вниз на первый этаж, затем через главный портал на улицу и через набережную Орфевр к берегу Сены. Подлежащие уничтожению документы несколькими шагами ниже по течению сбрасывались в воду, где они отделялись один от другого и уносились рекой, как крупная осенняя листва; материалы, предназначенные для сохранения дальше вверх по течению грузились на две специально для этого реквизированные баржи.

Леон встроился в ту цепь, которая препровождала карточки на уничтожение. Восемь часов он простоял на лестнице,

передавая дальше тысячи ящиков, коробочек и регистров, в которых находились миллионократные свидетельства человеческой жизни, и эти свидетельства уплывут в мутные воды Сены, размокнут, распадутся и погрузятся на дно, где его заглотят моллюски, поедающие тину, переварят и снова выпустят в круговорот жизни.

Говорили мало, начальство поторапливало. К вечеру второго дня бюро 205 было пусто, ночью подняли из подвалов последние остатки. В половине девятого на другое утро, спустя ровно сорок восемь часов после начала акции, баржи отчалили и уплыли вверх по течению, под мост Сен-Мишель, чтобы по рекам и каналам убежать в свободную Южную Францию.

Три дня спустя, в пятницу, 14 июня – то есть в тот день, когда Луиза послала ему весть, – Леон проснулся как обычно задолго перед рассветом. Он прислушался к тиканью будильника и к ровному дыханию своей жены, и когда утренний свет на бледных полотняных шторах из светло-голубого превратился в оранжевый и розовый, он выскользнул из кровати, выкрался с охапкой своей одежды в вестибюль, но шуму всё-таки наделал, потому что из кармана его брюк со звоном вывалилась мелочь. В кухне он зажёг газ и поставил воду, а сам брился и умывался над кухонной раковиной. Когда он хотел взять с коврика за дверью *Аврору*, он удивился, что её там не оказалось. Такого ещё не бывало.

Взамен Леон взял газеты последних трёх дней с полки для шляп и вернулся к кухонному столу, развернул первую газету и стал читать статью об овцеводстве на Внешних Гебридах, которую накануне пропустил. Незадолго до семи часов он, как обычно, намазал маслом десять бутербродов для всей семьи. Первым появился со слипшимися после сна глазами его старший сын Мишель, который теперь был шестнадцатилетним гимназистом. Пока Леон наливал две чашки кофе, к туалету, шатаясь, прошёл второй сын Ив.

Леон поставил на плиту молоко, чтобы согреть. Когда немного спустя на кухню вышла Ивонна, держа четырёхлетнюю Мюриэль на руке, а восьмилетнего Роберта за руку, Леону стало тесновато на кухне между плитой и раковиной. Он поцеловал жену в уголок губ, а малышей в макушки и удалился со своей второй чашкой кофе к кожаному креслу у окна гостиной, откуда открывался красивый вид на улицу Эколь и дальше к Политехнической школе.

Едва он сел, как ему бросился в глаза солдат, сидящий, широко раскинув ноги, на скамье в маленьком сквере напротив, он щурился на солнце и ел яблоко с большим ломтём хлеба. Его каска лежала рядом на скамье, ружьё стояло прикладом вниз на

гаревой посыпке. На шее у него висел фотоаппарат кубической формы, на поясе – абсурдно большая пистолетная кобура.

– Ивонна! – крикнул Леон, спрятавшись за штору, чтобы его не заметили снаружи. – Иди-ка сюда и посмотри на это.

– На что?

– На солдата там, внизу.

– Странно.

– Не стой у окна.

– Откуда у него яблоко?

– А что с яблоком?

– В это время года во всём Париже не сыщешь яблок. Новый урожай будет только в конце июля.

– Я имею в виду каску и униформу.

– Смотри, он достал второе яблоко. И скармливает хлеб голубям. А хлеб, возможно, настоящий, из пшеничной муки.

– Униформа, Ивонна.

– Мы жрём какой-то картон с опилками, его и хлебом-то не назовёшь, а парень скармливает хороший хлеб голубям. А если нам захочется мяса, нам придётся охотиться на белок в Люксембургском саду.

– Белок уже всех сожрали, я слышал.

– Тем лучше.

– Забудь про яблоки и про белок, Ивонна. Посмотри на его униформу.

– А что с ней?

– Она серая. А у наших солдат она цвета хаки.

– Но это – это же невозможно.

– Я сбегаю в булочную и посмотрю, что там и как.

Две ближайшие булочные оказались закрыты, но, обежав Латинский квартал, Леон уже всё знал. Действительно, Вермахт в эту летнюю ночь на цыпочках прокрался в Париж. Не было сделано ни одного выстрела, не прозвучало ни одного приказа, не взорвалась ни одна бомба. В утренних сумерках немцы просто были уже здесь, подобно ежегодному неминучему климатическому событию – как, например, появление ласточек, которые прилетают из Южной Африки, или как божоле-нуво, которым трактирщики осенью надувают туристов, или как очередной роман Жоржа Сименона.

Они совершенно естественно вписались в картину улиц опустевшего города и теперь выстраивались в очередь, как какие-нибудь туристы – в своих стальных касках и со своими маузерами – перед Эйфелевой башней, сидели в метро и читали путеводитель Бедекера, а на шеях у них висели фотоаппараты Agfa в коричневых кожаных футлярах, и они поодиночке и

группами останавливались перед Нотр-Дамом и Сакре-Кёром, чтобы поулыбаться друг другу в объектив.

Закалённые в боях танкисты галантно подсаживали пожилых дам в автобус, пиволюбивые пехотинцы ели бифштекс с картошкой фри в уличных ресторанах, хвалили повара и давали кельнерам щедрые чаевые, распуская свои ремни на одну дырку больше. Подтянутые офицеры Люфтваффе, которым с таким же успехом можно было бы подсунуть и томатный сок, допивали последние запасы Шатонёф-дю-пап, и многие говорили – будучи австрийцами – на удивление хорошо по-французски. Оккупационная власть неприятно отличалась только тем, что они, как нарочно, именно на Елисейских полях каждый день в половине первого устраивали большой войсковой смотр.

– Они повсюду, – шёпотом сказал Леон Ивонне, когда вернулся с двумя багетами. Он повернулся к детям спиной, чтобы не встревожить их. – Двое сидят на площади Шампольон в машине, один пьёт кофе на террасе на улице Валетт. На Пантеоне и на Сорбонне висят огромные флаги со свастикой. На обратном пути я даже столкнулся с одним на углу, прямо плечом к плечу, и знаешь что? Он извинился. По-французски.

– Что теперь будем делать? – спросила Ивонна.

Леон пожал плечами:

– Мне надо в лабораторию, а детям в школу.

– Ты пойдёшь на работу?

– Я должен идти на службу, Ивонна. Мы ведь об этом уже говорили.

– Мы могли бы бежать.

– Куда, в Шербург? Во-первых, немцы вскоре будут повсюду, если уже сейчас не заняли всю страну, а во-вторых, полиция меня сразу возьмёт под арест – французская, кстати, не немецкая. И в третьих, как только я окажусь в тюрьме, ты уже через месяц окажешься на улице и будешь голодать с детьми.

– Мы могли бы укрыться здесь, в квартире.

– Под диваном?

– Леон…

– Что?

– Давай ещё раз подумаем об этом как следует.

– О чём ты хочешь подумать? Думать тут нечего. Думать можно, когда располагаешь информацией. А мы ничего не знаем. Мы ничего не видим, ничего не слышим, мы даже не в курсе, что происходит. Мы не знаем, что случилось вчера, и ещё меньше знаем, что будет завтра.

– Кое-что мы уже видим, – сказала Ивонна и указала на окно.

– Что, солдата? Солдата Вермахта, который съел два яблока

подряд и греется на солнце? Ну, хорошо. Какие выводы мы можем из этого сделать?

– Что немцы здесь.

– Так точно. И далее мы можем предположить, что у парня начнётся понос, если он съест ещё и третье. Но ни о чём другом это нам не скажет. Мы не знаем, сколько их тут и что они замышляют, останутся они здесь или уйдут дальше, придут ли нам на выручку англичане или, наоборот, немцы уже сами в Англии, сровняют ли Париж с землёй или пощадят, – мы ничего не знаем. События выходят за пределы нашего горизонта, они просто слишком высоки для нас. Не имеет смысла дискутировать или размышлять.

– Но здесь может быть опасно. Для нас и для детей.

– Может. Но если мы вслепую побежим куда-нибудь, это с большой вероятностью самое опасное, что мы вообще можем сделать. Поэтому пусть малыши сейчас почистят зубы и умоются. А я пошёл, у меня много работы.

В это мгновение по улице мимо их дома проезжала машина с громкоговорителем, оповещая население от имени немецких оккупационных властей, что оно отныне из соображений безопасности сорок восемь часов должно оставаться у себя в квартирах и что Франция теперь переводится на немецкое время, поэтому все часы надо переставить на час назад.

ГЛАВА 13

Леона не смущало, что рано утром, когда его будили внутренние часы, было уже на час позднее, чем он привык. Поскольку *Аврора* не лежала под дверью и на второе утро, время за кухонным столом стало тем более долгим; ему нравилось, что не надо больше бродить по дому ночным привидением, а можно оставаться в постели, в непривычной тишине, лежащей над городом, так же долго, как его жена и дети. К тому же два дня ареста, которые им прописала оккупационная власть, тоже были достаточно длинными. Семья Лё Галль провела их в чтении, в еде и карточной игре. Старший сын Мишель, который теперь до смешного походил на того парня, каким Леон был во времена своих выходов в море на паруснике, целыми часами возился с подстройкой частоты радиоприёмника и искал известия, тогда как все радиостанции передавали только музыку. Леон и Ивонна пытались спрятать свою тревогу за преувеличенной весёлостью и будили в детях подозрение тем, что начинали целоваться в неподходящие моменты.

Когда Леон подошёл к окну, Мишель оторвался от радиоприёмника и молча подошёл к отцу, скрестив, как и он, руки за спиной, покусывая, как и он, нижнюю губу и глядя, как и он, вниз на мостовую, по которой временами проезжали то армейский грузовик, то санитарная, то полицейская машина, то труповозка, а один раз даже навозная бочка, выполняющая свой неотложный долг.

На улице было так тихо, что когда проходил патруль, сквозь закрытые окна был слышен топот солдатских сапог. А поскольку после двух месяцев почти непрерывных солнечных дней в то утро небо покрылось серой мглой, птицы смолкли, как будто следуя приказам немцев.

Раз в два или три часа Леон выкрадывался из тесноты квартиры, спускался по лестнице и осмеливался ступить на тротуар, чтобы посмотреть влево и вправо, вслушаться в тишину и принюхаться к воздуху; но нигде ничего не было ни видно, ни слышно, ни ощутимо по запаху, что бы хоть как-то намекнуло ему на положение дел в мире.

На третье утро домашний арест закончился, Париж снова проснулся к жизни. В утренних сумерках Леон размышлял, что будет ли умнее – идти, как предписано, на работу или ещё один день провести в укрытии квартиры. С улицы доносился тонкий шум моторов и временами топот копыт. Леон на цыпочках, чтобы не разбудить Ивонну, подошёл к окну и отвёл штору в сторону;

мимо проехало такси, потом грузовик с раствором Лекланше и женщина на велосипеде; волосатый парень в майке без рукавов толкал по мостовой передвижную овощную палатку.

Но никаких следов войны не ощущалось – в небе не висели чёрные облачка порохового дыма, на улице Эколь не стояло никакой военной техники, в парке напротив цвели магнолии, не было ни окопов, и нигде не видно было ни солдата, ни знака битвы и разрушения.

«Немцы притворяются невидимыми, – думал Леон, – или они уже снова ушли. Во всяком случае никакой опасности вокруг не просматривается».

Он решил идти на работу; может быть, для него было опаснее оставаться дома и подвергаться риску возбуждения дела из-за нарушения служебного долга по военным законам. Леон побрился в то утро несколько тщательнее, чем обычно, надел свежее бельё и свой новый твидовый костюм; если с ним что-то случится, он хотел бы оставить хорошее впечатление в больнице, тюрьме или морге. Пока пил на кухне свой кофе, он написал записку для Ивонны, взял с вешалки плащ и шляпу и тихонько прикрыл за собой дверь квартиры.

На первом этаже он заметил, что стеклянная дверь мадам Россето стоит приоткрытой. Он остановился и прислушался. Ничего не услышав, он подошёл ближе и позвал консьержку по фамилии. Затем постучался и толкнул дверь. Чуланчик консьержки в утренних сумерках был чисто прибран. В одном углу стоял веник, рядом ведро, поверх которого сушилась развёрнутая половая тряпка. На том месте, где раньше висел портрет погибшего сержанта Россето, остался светлый прямоугольник на потемневших обоях в цветочек. В воздухе стоял запах жареного лука и острых моющих средств, на крючке за дверью висел вечный фартук мадам Россето. На остывшей угольной печи лежала связка многочисленных ключей, а рядом записка:

> Любую почту на моё имя, пожалуйста, уничтожать не читая, я рассчитываю на вашу порядочность. Теперь вы можете, наконец, все поцеловать меня в задницу, вы, надутые придиры и старпёры. Примите, пожалуйста, мадам и месьё, заверения в моём безграничном почтении.
>
> *Жозианна Россето, консьержка дома 14 по ул. Эколь с 23 октября 1917 года по 16 июня 1940 года, 6 часов утра.*

На набережной Орфевр флаги со свастикой не висели, в вестибюле не дежурили эсэсовцы. В лаборатории царила обычная рабочая тишина, и все коллеги были на месте.

К удивлению Леона, холодильный шкаф был переполнен пробами, чего никогда не случалось за все его четырнадцать лет службы; когда он заговорил об этом с одним коллегой, тот пожал плечами и указал на то, что пришлось и в одёжном шкафу временно обустроить импровизированный холодильник, который тоже был переполнен.

Дело обстояло так, что парижские государственные врачи за два дня с момента взятия города немцами зарегистрировали триста восемьдесят четыре смертельных случая отравления без внешних признаков насилия; у всех этих мёртвых, которые, можно предположить, по собственной воле покинули пир жизни, чтобы избежать горького десерта унижений, оскорблений и мучений, врачи вырезали из печени кусочек плоти величиной с куриный глаз и отправляли его в стеклянной баночке в научную службу *Судебной полиции.* Леон Лё Галль и его коллеги должны были три недели работать, чтобы ликвидировать эту гору необработанных проб человеческих тканей, триста двенадцать раз проверяя их на присутствие цианистого калия, триста двадцать раз – на присутствие стрихнина, тридцать восемь раз – на крысиный яд и три раза – на яд кураре; только в одной пробе так и осталось невыясненным, при помощи чего отчаявшийся покончил с жизнью, и ни одна проба не дала отрицательного результата.

После напряжённого, но при этом бессобытийного, рабочего дня Леон отправился домой. На улицах было необычно мало машин, как будто было воскресенье, а не будний день, на тротуарах поток идущих с работы мужчин был не такой плотный, как обычно, и омнибусы ехали полупустыми; букинисты закрыли свои коробки, с тротуара перед кафе убрали столы и стулья и опустили решётки; книготорговцы и гуляющие, трактирщики, кельнеры и посетители – все исчезли; однако нигде не было видно ни уличных постов, ни танков, ни автоматов, казалось, что жизнь приняла свой стародавний, добрый французский ход – с тем маленьким различием, что на скамейках в парках и в прогулочных лодках теперь сидели только немецкие солдаты.

Деревянные, обитые железом ворота музея Клюни тоже были заперты. На пороге сидел, как обычно, персональный клошар Леона, которому он утром, как обычно, уже положил в шляпу монету. Леон приветственно поднял руку и хотел пройти мимо, но тут клошар воскликнул:

– Месьё Лё Галль! Пожалуйста, месьё Лё Галль!

Леон удивился. То, что клошар знал его имя, было непривычно и против правил игры; то, что он заговорил с ним, да ещё и кричал вдогонку, было просто неслыханно. Леон недовольно повернулся на каблуках и подошёл к нему. Клошар с трудом поднялся на ноги и сорвал с головы кепку.

– Пожалуйста, простите за назойливость, месьё Лё Галль, я задержу вас только на одну минуту.

– В чём дело?

– Я обнаглел, но что делать, нужда…

– Я же вам сегодня утром уже давал, вы не помните?

– Да именно поэтому, месьё, я прошу вас о снисхождении и позволил себе вежливо спросить у вас…

– Чего вы хотите, говорите прямо, давайте не будем терять время.

– Вы правы, месьё, время поджимает. Короче, я хотел спросить: завтра утром вы опять дадите мне пятьдесят сантимов?

– Что за вопрос!

– А послезавтра?

– Вы для меня не пустое место, но вы заходите слишком далеко. Может, вы пьяны?

– А на следующей неделе, месьё? Я и на следующей неделе, и весь месяц буду получать от вас ежедневно по пятьдесят сантимов?

– Ну, хватит, что вы себе позволяете! – Леон чувствовал себя осмеянным в своём надёжном добродушии и повернулся, чтобы уйти.

– Месьё Лё Галль, пожалуйста, ещё одну секунду! Я понимаю, насколько я беззастенчив, но если бы не нужда.

– Да в чём же дело, говорите уже.

– Ну как, ведь нацисты уже здесь.

– Я видел.

– Тогда вы наверняка знаете, что они сделали с нашим братом в Германии.

Леон кивнул.

– Вот видите, месьё Лё Галль, мне надо уехать, я не могу здесь оставаться.

– И куда же вы хотите уехать?

– На автовокзал Жорес, оттуда автобусы идут в Марсель и Бордо.

– И что?

– Если вы дадите мне ссуду из тех монет, которые вы предполагали дать мне в ближайшее время…

– Но это же… как долго вы собираетесь там пробыть?

– Как знать? Боюсь, что война продлится долго. Три года, а то

и четыре.

– И на всё это время ты хочешь иметь свои ежедневные пятьдесят сантимов?

Клошар улыбнулся и поднял плечи, прося о снисхождении.

– Четыре года умножить на двести рабочих дней, это будет восемьсот раз по пятьдесят сантимов.

– Как скажете, месьё Лё Галль. Разумеется, меня бы спасла и гораздо меньшая сумма.

Леон потёр затылок, надул губы и внимательно разглядывал кончики своих башмаков. Потом он сказал, словно самому себе:

– Если подумать, я не вижу причины сказать тебе нет.

– Месьё…

Клошар выжидательно потупил взгляд и смиренно мял кепку. Леон тоже снял шляпу и смотрел по сторонам, как будто ждал, не выручит ли его кто из этого положения. В конце концов он снова надел шляпу и сказал:

– Завтра утром, незадолго до полудня, будь тут. Я принесу тебе деньги.

– Благодарю вас, месьё Лё Галль. А сами вы как? Что будете делать?

– Посмотрим, а ты поезжай в Жорес. Меня, кстати, зовут Леон, так меня называют друзья – называли, когда они ещё у меня были. А тебя?

– Меня зовут Мартэн.

– Очень приятно, Мартэн.

Двое мужчин пожали друг другу руки.

– Тогда до завтра, береги себя!

– Ты тоже, Леон, до завтра!

И потом – впоследствии никто из них не мог бы сказать, как это могло получиться, – они сделали шаг друг к другу и обнялись.

Возвращаясь домой, Леон удивлялся, как заметно сказывалось отсутствие мадам Россето. Перед дверью дома валялись окурки, голубиные перья и лошадиные «яблоки», во входном холле стояло вонючее мусорное ведро. Пять газовых баллонов загораживали путь на лестницу. Почта дня лежала на батарее отопления у заднего выхода, который вёл во двор – потому что некому было разнести её под двери квартир, а большинство жильцов бежали на юг.

Порт Лорьян, на борту вспомогательного крейсера «Виктор Шёльхер»

14 июня 1940 г.

Мой дорогой Леон!

Это я, твоя Луиза. Удивляешься? Я удивляюсь. Я себе очень удивляюсь, как сильно мне захотелось написать тебе, как только я узнала, что уезжаю из Парижа, и очень надолго. Вот уже неделя, как я всякую свободную минуту делаю для тебя сумбурные записи; здесь, я надеюсь, хоть какая-то упорядоченная чистовая запись, которая завтра или послезавтра отправится по почте.

Знаешь, я бы не сказала, что предыдущие двенадцать лет я непрерывно думала о тебе. В конце концов, в таком состоянии можно находиться не больше нескольких месяцев, в какой-то момент упираешься в пределы своих возможностей. Потом совершенно неожиданно наступает то мгновение – например, во время обеденного перерыва в процессе переваривания, – когда вздохнёшь поглубже и на всё плюнешь, и после этого живёшь себе, встречаешься с друзьями, по субботам ходишь в кино, а по воскресеньям катаешься по стране и заказываешь в каком-нибудь сельском трактире сосиски.

Как я живу с тех пор? Одно время у меня был кот по кличке Сталин, но он как-то поскользнулся на обледеневшем оконном карнизе, летел четыре этажа и напоролся на кованые пики ограды; в музее человека есть один парень с выражением лица, как у обезьяны с коликами в животе, он тараторит как водопад, считает меня дамой и в холодные зимние дни подстерегает меня с горячим чаем. Временами он пишет мне вежливые, недлинные любовные письма, и когда меня одолевают сомнения в смысле жизни, в моей женской привлекательности или в человечестве как таковом, он ходит со мной гулять и кормит меня шоколадом.

Я очень хорошо живу, я совсем не скучаю по тебе, понимаешь? Ты лишь один из многих пробелов, которые я ношу всю мою жизнь; в конце концов, я не стала ни автогонщицей или балериной, не умею рисовать и петь так хорошо, как мне хотелось бы, и никогда не смогу читать Чехова по-русски. Я давно уже не нахожу чересчур плохим то, что в жизни осуществляются не все мечты; а то бы очень быстро всё это стало слишком.

Со своими пробелами свыкаешься и живёшь с ними, они становятся частью тебя, и ты уже не хочешь с ними расставаться; если бы мне пришлось кому-нибудь описывать себя, то первым делом я упомянула бы, что не знаю русского языка и не умею крутить пируэты. И постепенно пробелы становятся твоими главными

свойствами и заполняют тебя собой. И ты, тоска по тебе – или одна мысль, что ты есть, – всё ещё наполняет меня.

Как это может быть? Не знаю. К этому привыкаешь, это просто есть – и всё.

Тем больше я удивилась, когда я в такси по пути к вокзалу Монпарнас внезапно ощутила сильную потребность написать тебе и разволновалась как девочка-подросток перед первым свиданием. И ещё больше я удивилась, тихонько произнеся на заднем сиденье твоё имя, собираясь уехать от тебя очень далеко. Я ругала себя дурой и при этом всё же доставала бумагу и ручку, и потом во время бесконечной поездки на поезде в переполненном и жарком купе сюда, в порт Лорьян, я пыталась записать всё, что приходило мне в голову в связи с тобой.

Теперь я сижу на краю койки в моей каюте в инкубаторной жаре за тщательно запертой дверью с блокнотом на коленях и всё ещё не знаю, что тебе сказать. Или всё же знаю: всё и ничего, не больше и не меньше. Но одно я знаю точно: это письмо я отправлю в самый последний момент, когда почтальон будет уже уходить с борта, а машина будет стоять под парами, концы будут отданы, а я буду уверена, что мы уйдём в море и будет исключена всякая возможность, что меня вернут назад в Париж.

Вероятно, ты сейчас, если читаешь эти строки, стоишь на коврике перед дверьми своей квартиры и скребёшь свой плоский затылок. Я представляю себе, что консьержка передала тебе письмо, заговорщицки подняв брови, и ты на лестнице, не веря своим глазам, читаешь имя отправителя и правым указательным пальцем надрываешь конверт. Сейчас Ивонна покажется в дверной щёлочке и спросит, не хочешь ли ты войти. Её наверняка тревожит то, что ты стоишь перед дверью с конвертом в руках, может быть, она боится вести о чьей-то смерти или призывной повестки на войну, или что тебе отказано в квартире или в должности. И ты протягиваешь ей письмо, причём без слов, как я предполагаю, потом следуешь за ней в прихожую и закрываешь за собой дверь.

(Привет, Ивонна, это я, Маленькая Луиза из Сен-Люка-на-Марне, не беспокойся, причины для тревоги нет. Я пишу издалека и пишу намеренно на улицу Эколь, чтобы исключить всякую секретность).

Знаешь, Леон, я дивлюсь дипломатическому уму твоей жены, а ещё её мужеству, с каким она принимает твое дисциплинированное хорошее поведение. На её месте я бы давно уже послала тебя к чертям – разумеется, себе же во вред; твою положительность я бы не смогла выносить долго.

Ибо все двенадцать прошедших лет ты действительно вёл себя очень хорошо, этого у тебя не отнять. Ты никогда не подстерегал меня и никогда не пытался преследовать, никогда не звонил в банк Франции и не посылал мне на работу писем; при этом ты страдал так же, как и я, это я знаю точно.

Разумеется, это было бы ребячеством – тайком разыгрывать все эти маленькие ритуалы влюблённых, это не спасло бы нас и было бы для всех нас болезненно, и я бы на тебя сердилась, если бы ты не сдержал слово; с другой стороны, я иногда спрашивала себя, не сердиться ли мне на тебя за то, что ты так аккуратно, строго и безошибочно следуешь моему приказу о радиомолчании. Я, кстати, была не так послушна, как ты. Из маленького парка у Политехнической школы открывается хороший вид в твою квартиру, ты знал? Четырнадцать раз за последние двенадцать лет я разрешала себе поздним вечером стоять там и смотреть в твои освещённые окна – как внутрь кукольного дома; первый раз в тот же вечер после нашей общей поездки, второй раз в воскресенье, на следующий день, и затем с разными интервалами приблизительно раз в год. Это всегда было зимой, поскольку мне требовалось прикрытие темноты, даты я помню наизусть; последние восемь раз у меня был с собой бинокль.

Немного по-дурацки чувствуешь себя, прячась за стволом дерева и разыгрывая детектива, но благодаря биноклю я могла видеть всё: как трое твоих мальчиков играли в солдатики; щербины на месте выпавших зубов твоей Мюрьель, один раз даже красивую грудь твоей жены; потом новый стеллаж для книг, и то, что ты теперь носишь очки, когда мастеришь свои смешные поделки. Ты и твои смешные предметы, Леон! Мне кажется, что я тогда влюбилась в тебя немного и из-за них. Ржавые вилы, ветхий оконный переплёт и полупустая канистра бензина… в этом ты был неподражаем.

Впрочем, я никогда не стояла за деревом дольше четверти часа или двадцати минут, дольше было нельзя;

кажется, всякий раз потом среди всех развратников и одиночек по Латинскому кварталу ходили слухи, что одинокая женщина слоняется ночью в парке. Один раз мне пришлось объяснять жандарму, что я делаю ночью в парке с биноклем; я отбрехалась от него орнитологией и наврала что-то насчёт того, что воробьи зимой ночами спят на деревьях, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, и что за этим всегда кто-нибудь должен вести наблюдения.

Всякий раз было радостно видеть тебя в кругу семьи. Это были экскурсии в другое измерение, взгляд в параллельный мир или в жизнь, которую могла бы вести и я, не случись тогда бомбёжки на дороге или если бы мэр Сен-Люка не заглядывался на мою несравненную лебединую шею; твоя семья для меня воплощённая форма вероятности, трёхмерное сослагательное наклонение, Konjunktiv Irrealis, секулярный вертеп Рождества, живой кукольный дом в натуральную величину, имеющий лишь один недостаток, что мне нельзя с ним играть.

Пойми меня правильно, я довольна своей жизнью и не ищу другой; также я не могла бы сказать, какое решения я приняла бы, если бы у меня был выбор между сослагательным и изъявительным наклонениями. Тем более, что и вопроса такого нет, потому что выбора ни у кого не было.

У тебя красивая семья, и ты красивый мужчина, Леон, тебе к лицу стареть. Раньше, когда ты был моложе, твоя серьёзность могла казаться скучной, но теперь она тебя только украшает. Не начал ли ты уже пить? Мне кажется, у тебя в руке был стаканчик рикара. Или это был перно? О том, что ты с прошлой зимы куришь трубку, мне нечего сказать. Тебя это немного старит. Если бы ты был моим мужем, я бы тебе это запрещала, по крайней мере в квартире. Я, кстати, по-прежнему курю «Турмак»; посмотрим, будут ли эти сигареты там, куда я еду. Если нет, тебе придётся мне их посылать.

Это странно: только теперь, когда нас столь многое разделяет – океан, война, часть света, а то и две, к тому же годы, что уже прошли и пройдут ещё, – я снова могу быть к тебе так близко. Только теперь, когда несколько тысяч километров расстояния берегут нас от секретничанья, вранья и низости и мы наверняка долго не увидимся, только теперь я чувствую себя снова

близкой тебе. Лишь вдали от тебя я совсем рядом с тобой, лишь вдали от тебя я могу отважиться открыться тебе, не роняя себя при этом, понимаешь? Разумеется, ты это понимаешь, ты умный мальчик, даже если твоё мужское сердце чуждо этим женским дилеммам и парадоксам.

Я знаю, ты смотришь на всё это более прямолинейно.Ты делаешь то, что должен, и то, что ты должен оставить как есть, ты оставляешь как есть. И если ты в виде исключения делаешь что-то такое, чего не должен, ты всё равно честен с самим собой, потому что мужчина порой в жизни должен делать то, чего не должен делать. Но зато ты берёшь за это ответственность на себя и следишь за тем, чтобы жизнь продолжалась.

Кстати, неправда, что ты не видел меня все эти годы; я уверена, что ты меня узнал тогда на площади Сен-Мишель, когда бегал за мной вокруг киоска. Я просто бегала резвее, чем ты – я ведь всегда была из нас двоих самая быстрая, нет? – и тогда я тебя догоняла, а не ты меня. И когда ты остановился, обыскал взглядом всю площадь Сен-Мишель, я стояла у тебя за спиной; я могла бы закрыть тебе глаза ладонями и сказать «ку-ку». А когда ты повернулся, я в такт с тобой забежала тебе за спину. Это было как в фильме Чарли Чаплина, и люди смеялись. Только ты ничего не заметил.

Итак, я плыву теперь через океан. У меня нет ни малейшего представления, куда мы едем, я не знаю, опасно ли это и когда я вернусь и вернусь ли вообще, и мне даже не объяснили пока, чего от меня ждут; ну да, где-нибудь снова буду печатать на машинке, что же ещё.

В прошлую субботу я ещё, как обычно, ехала на работу в моей «торпеде», которая немного постарела и одряхлела; подшипники и привод полетели, прокладку у головки блока цилиндров снова надо менять, и задняя ось сместилась. Прямо у главного входа меня поймал месьё Тувье, наш генеральный директор. Он бог среди полубогов с бельэтажа банка Франции и обычно мелкую скотинку вроде машинистки с первого этажа вообще не замечает. Но на сей раз он не только взял меня под руку, но и склонил ко мне свою титаническую главу и пробормотал мне на ухо своим тихим, приученным приказывать голосом:

– Вы ведь мадемуазель Жанвье, не так ли? Вы сейчас же поедете домой и соберётесь в дорогу. Возьмите такси,

вашу машину оставьте.

– Так точно, месьё. Прямо сейчас?

– Немедленно. У вас всего час времени. Соберите лёгкий багаж на долгое путешествие.

– Насколько долгое?

– На очень долгое. Ваша квартира уже объявлена освобождённой, о вашей мебели мы позаботимся.

– А моя машина?

– Мы вам её компенсируем, не думайте об этом. А теперь быстро, через час вас будут ждать на вокзале Монпарнас.

То был не приказ, то была просто констатация факта. Так я вернулась домой, собрала пару платьев и несколько книг и распростилась со всем нажитым. Оставила я не так много, приличную ореховую кровать с матрацем из конского волоса и пуховым одеялом, да ещё комод, кожаное кресло и несколько предметов из кухонной техники; зато ни одного разбитого сердца, если тебя это интересует, и ни одной верно ждущей души.

Конечно, у меня были в эти годы несколько романов и приключений, ведь проскучать всю жизнь, в конце концов, не хочется; к сожалению, все они очень быстро становились пресными и неинтересными. И со временем мне стало ясно, что с самой собой мне не так скучно, как в обществе господина, который мне не вполне нравится.

Итак, я по-прежнему не связана никакими узами, как говорят; несомненно и потому, что я в силу какого-то чуда природы никогда не была беременна. Во всём остальном удивительно то, как легко можно жить в Париже десять или двадцать лет среди четырёх миллионов людей и ни с кем так и не познакомиться, кроме торговца овощами на углу и сапожника, который дважды в год прибивает тебе новые каблуки.

И как-то, не знаю, почему, мой дорогой Леон, мне всегда нравился ты один. Ты это понимаешь? Я нет. И как ты считаешь: получилось бы у нас что-то, если бы мы проводили вместе больше времени? Мой разум говорит «нет», а сердце говорит «да». Ты чувствуешь то же самое, разве нет? Я знаю это.

По дороге на вокзал все улицы были забиты беженцами. Столько людей, охваченных паникой! Я не представляю, куда они все рвались. Столько кораблей не бывает, чтобы они уместились, а берег, на котором война

их не догонит, так далёк. Вокзал и все поезда были переполнены, а по дороге в Лорьян наш поезд продвигался вперёд только потому, что он, будучи спецтранспортом банка Франции, имел приоритет на всей железнодорожной сети.

Пока я сижу в каюте и пишу, солдаты разгружают наш товарный поезд. Ты не поверишь, в моём багаже находится основная часть золотого резерва Французского национального банка, а кроме того тридцать тонн Польского и двести тонн Бельгийского национальных банков, которые мы взяли на сохранение несколько месяцев назад. Вкупе две-три тысячи тонн золота, по моей прикидке; всё это мы должны увезти подальше от немцев в безопасное место.

Наш корабль, «Виктор Шёльхер», транспорт для перевозки бананов, который военно-морской флот реквизировал и перепрофилировал во вспомогательный крейсер. Для военного корабля он выглядит всё ещё по-карибски со всей этой зелёной, жёлтой и красной масляной краской где надо и где не надо; единственное по-военно-морскому серое – это маленькая пушка впереди на баке. Моя каюта находится, поскольку я единственная дама на борту, впереди на мостике, сразу за капитанской.

Здесь очень жарко и душно, как будто мы уже в Конго или Гваделупе. На светло-зелёных крашеных стальных стенах конденсируется влага из воздуха, а на красном стальном полу собираются лужицы с лиловыми разводами. Из сливного отверстия умывальной раковины каждые десять секунд выползают неевропейской жирности тараканы, которых я пытаюсь порешить моим правым башмаком, а от описания туалета, который я делю с капитаном, я тебя поберегу. Я слышала, что на нижней палубе есть второй туалет для восьмидесяти пяти человек экипажа; дай бог, чтобы мне никогда не пришлось даже приблизиться к нему.

Ещё этой ночью, самое позднее утром, мы выйдем в море, всё в спешке сломя голову. Немецкие танки, говорят, уже в Ренне, пару часов назад над нами уже летали «хейнкели» и «юнкерсы» и сбрасывали мины на выходе из порта, чтобы не дать нам удрать. Капитан хочет дождаться прилива в четыре тридцать и на рассвете попасть в открытое море по внешнему краю фарватера между минами и грязевой отмелью.

Разумеется, всё это в высшей степени секретно, я не имею права тебе всё это выдавать; но скажи сам, кого в целом свете может беспокоить, что написано в письме, которое машинистка пишет скромному парижскому полицейскому клерку? Все, что я тебе тут говорю, сегодня уже с большой вероятностью неправда, а потому неважно, а завтра гарантированно пройдёт и будет забыто и лишено всякого значения. К тому же, из того, что я вижу, так и так ничего не удержишь в тайне. Или ты думаешь, что можно утаить существование двенадцати миллионов беженцев? Могут ли две тысячи тонн золота остаться незамеченными? Разве может быть что-то тайное от «мессершмидтов» и пикирующих бомбардировщиков, которые с ушераздирающим воем обрушиваются с небес? Какая секретность, когда все всё видят и никто ничего не понимает? Колокол зовёт к обеду, я побежала!

Между тем опустилась ночь. Я перекусила в офицерской кают-компании с капитаном, офицерами и тремя моими начальниками из банка. Был морской окунь с жареной картошкой, беседа вертелась вокруг мощи войск Вермахта, который, судя по всему, с большой спешкой надвигается на нас и самое позднее завтра к вечеру ожидается здесь; к тому же я узнала, что человек, в честь которого назван наш корабль, «Виктор Шёльхер» – тот, кто в 1848 году отменил рабство во Франции и её колониях. Разве это не замечательно? За кофе господа из дружелюбия за мной ухаживали, пусть и, на мой вкус, несколько слишком привычно и скучающе, без настоящего порыва.

После этого я ходила в город, чтобы сделать необходимые запасы на долгий путь; никогда ведь не знаешь, что тебе предстоит. Мне пришлось ходить довольно долго по тёмным улицам с выкрашенными в синий цвет фонарями и наглухо зашторенными окнами, пока я нашла продовольственный магазин. Я спросила у продавца без особой надежды, нет ли сгущённого молока. Он указал на хорошо заполненную полку и спросил, сколько банок я хотела бы. Двенадцать штук, сказала я в шутку, и знаешь, что? Он их мне дал не поведя бровью. И я взяла ещё шоколада, хлеба и колбасы, и продавец даже не спросил у меня про марки. Сам видишь, больше никакие правила не действуют, всё бывает, и никто не знает, что будет завтра. Так что зачем

тайны?

Теперь я сижу снаружи на трапе, здесь дует прохладный вечерний бриз, и смотрю на пирс внизу, на котором кишмя кишат солдаты, занятые тем, что штабелюют тяжёлые деревянные ящики. По четверо достают из раскрытых дверей товарного вагона ящик и волокут его к месту складирования. Мне интересно, сколько же это будет ящиков. Сейчас меня позовут, и мне надо будет идти вниз на разгрузочную платформу и приступать к моей ночной вахте. Машинистка считает ящики золота. Всю ночь я буду сидеть за маленьким столиком и за каждый ящик, который исчезает в недрах «Виктора Шёльхера», ставить чёрточку остро заточенным карандашом на бланке, который я лично разграфила для этой цели.

Позади товарной станции на опоясывающей стене сидят мальчишки в кепках и коротких штанах и смотрят. Их лица пусты, они не шевелятся – трудно сказать, догадываются ли они о том, какие богатства лежат у них под носом.

Официально в ящиках транспортируются артиллерийские снаряды, но здесь в это никто не верит. В это мгновение у меня за спиной стоят двое курящих сигареты корабельных юнг, хвастаясь друг перед другом, что это самые большие золотые сокровища, какие когда-нибудь пересекали Атлантический океан. Может быть, они и правы; я не могу себе представить, чтобы у древних испанцев когда-нибудь лежали в одной куче две тысячи тонн золота. И даже если лежали, им пришлось бы сновать на своих деревянных судёнышках пару дюжин раз туда сюда, чтобы всё это перевезти через океан.

Радио в офицерской кают-компании наигрывает музычку, новостей больше не передают. Только радист может слушать Би-Би-Си. Его зовут Галиани, и он грассирует так, что сразу хочется рыбного супа по-прованси, и всё тело у него поросло густой чёрной шерстью, которая выбивается отовсюду из-под униформы. В своё свободное время он любит важно прохаживаться по палубе, как самый информированный человек на борту. Он проходит мимо у меня за спиной и говорит: «Слыхали уже, мадмуазель? Норррвежцы капитулировали». Потом растягивает лицо в гримасу отвращения, сдвигает свой «галуаз» в правый уголок рта и сплёвывает свободной половиной рта. Таким образом,

он в последние дни надёжно держит меня в курсе происходящего в мире. «Уже слыхали? Гитлеррр бомбит Лондон». И сплюнет. «Уже слыхали? Верррмахт вошёл в Парриж». И сплюнет. И всякий раз кривится в своей гримасе отвращения и ждёт от меня изумления, которым я его щедро наделяю. Но оттого что он хотя и хвастун, но в то же время чуткий южанин, он меня всякий раз видит насквозь и обиженно идёт своей дорогой.

Меня зовут на службу, я должна заканчивать писать! Может быть, это моя последняя свободная минута перед прощанием. Завтра утром я передам это письмо посыльному, и оно уйдёт. Странно, у меня вопреки рассудку просторно и светло на сердце. Именно потому, что я понятия не имею, куда доставит меня этот корабль, у меня есть обманчивое чувство, что мир открыт мне, что, разумеется, не так; на самом деле передо мной весь мир закрыт за исключением того или иного письменного стола на том или ином континенте, куда меня решит забросить банк Франции. Но что бы там ни было: хуже смерти не будет ничего. Я люблю тебя и очень за тебя тревожусь, мой Леон, я ведь этого ещё так и не сказала; надеюсь, очень надеюсь, что нацисты тебе ничего не сделают. Береги себя и своих и держись подальше от всех опасностей, будь осторожен и по возможности счастлив, не корчи из себя героя, оставайся здоров и не забывай меня!

Навсегда твоя, Луиза

P.S. Шесть часов спустя: сейчас 4.20 утра, после долгой ночи карандашных чёрточек и всех ящиков на борту. Тысяча двести восемь штук, нетто-, брутто– и вес тары из-за больших размеров в спешке не измерялись и потому неизвестны. Машина уже два часа стоит под парами, почтовый посыльный стоит на трапе и барабанит пальцами по перилам. На востоке светлеет, или мне кажется? Я должна окончательно запечатать моё письмо, прямо сейчас, тотчас, иначе оно не попадёт к тебе. Быстро в конверт, облизать и заклеить. Адьё, любимый, адьё!

ГЛАВА 14

Через несколько дней после вступления немцев в Париж волна самоубийств утихла, в город вернулся покой. Но немецкие солдаты не стали невидимы, как предполагал Леон, а наоборот распространились повсюду; в парках и на улицах, в метро, в кафе и в музеях, а особенно в универмагах, ювелирных магазинах, художественных галереях и мелочных лавках, где они на своё солдатское жалованье, которое благодаря новому обменному курсу многократно выросло в цене, скупали всё, что можно было купить за деньги и что не было приклёпано или приколочено.

В те дни казалось, будто с немцами в Париже установилась почти нормальная повседневность. Вермахт давал концерты духового оркестра под открытым небом в Булонском лесу и раздавал нуждающимся хлеб за Бастилией, он обеспечивал уборку улиц и создавал, поскольку все работники городского садоводческого хозяйства сбежали, рабочие колонны для ухода за цветочными клумбами в Тюильри. Комендантский час – поскольку он сдвинулся с двадцати одного на двадцать три часа, почти не отличался от приказа о затемнении, который издавало ещё суверенное французское правительство; а если какой ночной гуляка не попадал домой вовремя, самым страшным, что ему грозило, были несколько часов в полевой жандармерии, где их заставляли до рассвета чистить сапоги и пришивать пуговицы.

В конце июня парижские кинотеатры снова открылись и снова стали выходить газеты, которые по названию и по оформлению были на удивление похожи на парижские довоенные газеты; в Мулен Руж опять танцевали. Трактирщики, портные и таксисты имели хорошую прибыль, и ночами между площадями Бланш и Пигаль как никогда много женщин поджидали своих клиентов – преимущественно в серой военной форме.

Поскольку апокалипсиса не случилось, беженцы начали возвращаться в невредимый город – поначалу неуверенно и поодиночке, стыдясь очевидной бессмысленности своего опрометчивого бегства, а потом целыми толпами; в середине июня в Париже было вдвое больше жителей, чем месяц назад. Первыми вернулись торговцы, которые не могли надолго оставлять свои магазины без оборота, затем ремесленники и мелкие служащие, которых позвали назад их начальники, и евреи, заставив себя надеяться, что всё будет не так уж плохо, за ними журналисты, художники и театральные актёры, учуяв в новых временах свой шанс. К концу лета тут были и пенсионеры, которых неудержимо влекли назад их удобные кресла с высокими

спинками, их домашние врачи и любимые скамейки в парке за углом, и, наконец, дети, для которых в начале сентября подошли к концу их самые длинные в жизни каникулы.

Леон покорился и жил дальше как получалось. Новые газеты – такие, как *Petit Parisien, L'Œuvre* или *Je suis partout* он не читал, потому что они, хотя и были напечатаны по-французски, но думали по-немецки, и в кино он не ходил, а проводил свои вечера у радиоприёмника. Он слушал обращения маршала Петэна по французскому радио и ответные возражения генерала Де Голля по Би-Би-Си Франции, он слушал новости швейцарского телеграфного агентства о войне в России, Северной Африке и Норвегии; он прикрепил на стену в кухне карту Европы и помечал движение фронта булавками, снял с банковского счёта десятую часть своих сбережений и купил на чёрном рынке золотые слитки, которые спрятал в гостиной под паркетом, а ещё изо дня в день он тщетно питал надежду, что из какого-нибудь уголка мира – куда доставил её банановый пароход карибской расцветки – до него дойдёт весточка от Луизы.

За всё лето от неё больше не пришло ни одного письма, и дикторы в новостных передачах ни разу не проронили ни словечка о судне *«Виктор Шёльхер»* или о перевозке золота банка Франции. Леон видел иронию судьбы в том, что в каждой мировой войне, которая ему выпадает, одна и та же девушка бесследно исчезает с его глаз. Но чем дольше длилась неизвестность, тем больше он заставлял себя толковать отсутствие новостей как хороший знак.

В августе он заметил, что платаны облетели раньше, чем обычно. После жаркого лета наступила ранняя осень.

* * *

Исторический факт гласит, что *«Виктор Шёльхер»* в то утро 17 июня 1940 года успел сбежать буквально в последнюю минуту. Есть сообщения очевидцев, согласно которым передовой отряд Вермахта, который вошёл в Лорьян, ещё мог видеть дымок корабля за пределами выхода из бухты. Выйдя в открытое море, *«Шёльхер»* объединился с тремя кораблями, транспортирующими золото, то были перепрофилированные пассажирские суда с линии Марсель – Алжир; все они взяли курс на Касабланку; оттуда предполагался дальнейший маршрут в Канаду, где французское, бельгийское и польское золото должно было храниться в сейфах Оттавы.

Четыре парохода едва успели пройти Бискайский залив, как

по радио передали сообщение о капитуляции Франции. Вследствие чего возник вопрос, кому теперь по праву полагаются полномочия распоряжаться этим золотом – правительству Виши и тем самым в конечном счёте нацистской Германии, французскому правительству в изгнании в Лондоне под руководством генерала Де Голля или по-прежнему банку Франции, который хотя и подчинялся министерству финансов, но как учреждение частное не являлся собственностью французского государства.

Так получилось, что немецкое адмиралтейство прямо в день капитуляции грозило по радио кораблям с золотом торпедной атакой, если они не вернутся тотчас же в ближайший порт оккупированной Франции. Всего несколько часов спустя и генерал Де Голль грозил им торпедной атакой, если они немедленно не возьмут курс на Лондон. В таких обстоятельствах нечего было и думать о трансатлантическом переходе, поэтому корабли придерживались курса на юг и после промежуточной остановки в Касабланке 4 июля 1940 года прибыли в Дакар.

Там они поначалу были защищены от немецких миноносцев, но британский флот под командованием генерала Де Голля грозил побережью Сенегала с объявленным намерением захватить Западную Африку именем независимой Франции. Поэтому служащие банка Франции второпях решили загрузить доверенное им золото в количестве двух-трёх тысяч тонн – сколько там было точно, так никто никогда и не узнал – в товарные вагоны и перевезти его насколько возможно в глубь континента по линии Дакар-Бамако.

В шестнадцать часов всё было выгружено, а через три дня последний транспорт с золотом покинул вокзал Дакара. При первой инвентаризации в Тиесе обнаружилось, что один ящик во время морского путешествия полегчал на тринадцать килограммов. Другой, который изначально прибыл из филиала в Лавале, был наполнен галькой и металлоломом. А два или три ящика вообще исчезли.

* * *

По воскресеньям Леон с женой и детьми шли гулять, как будто ничего не случилось; но если на бульваре Сен-Мишель шёл парад танковой бригады, Леон велел детям не глазеть, а отвернуться и разглядывать витрины магазинов.

– Ну хорошо, они победители, и пока что они ведут себя прилично, – наставлял он своего первенца Мишеля, которому не сиделось в тесноте квартиры и не терпелось самостоятельно

обследовать оккупированный город. – Если кто-то с тобой заговорит, скажи ему «бонжур» и «о ревуар», и если он спросит у тебя, как пройти к Эйфелевой башне, объясни ему. Но по-немецки ты не понимаешь, поскольку забыл всё, что изучал в гимназии, а если он вдруг знает французский, ты не обязан болтать с ним о погоде. Если он скажет тебе по слогам своё имя, ты имеешь право оказаться слабослышащим и плохопомнящим, и если он попросит у тебя огня, не давай ему зажигалку, пусть прикурит от твоей сигареты. И никогда – слышишь, никогда! – не снимай перед немцем головной убор. Просто дотронься до полей указательным пальцем.

Сам Леон изо дня в день ходил на набережную Орфевр, опустив голову, и так же опустив голову исполнял свою работу. Работы было не много, поскольку в Париже почти прекратились случаи отравления со смертельным исходом; казалось, в дни хаоса и массовой паники все планы по убийствам и суицидам были выполнены, и больше некого стало спроваживать на тот свет при помощи яда.

Леон использовал свободное время для того, чтобы приступить к давно питаемым намерениям – написать научную статью, которая могла бы стать диссертацией; ибо с некоторых пор он воспринимал как жизненное поражение то, что у него не было образования – даже гимназию он не закончил – и соответствующего титула.

Разумеется, навёрстывать упущенное в юности теперь было бы, во-первых, невозможно, а во-вторых, смешно; но ему хотелось иметь свидетельство о том, что он серьёзный человек, способный мыслить. В качестве темы для своей работы он предполагал взять статистическую оценку парижских отравлений за период 1930–1940 годов. Если и был в этой области специалист, то только он. И наоборот – эта область была единственной, в которой он действительно разбирался.

Первым делом он выложил на свой рабочий стол лабораторные журналы за последние десять лет и начал их статистическую оценку: группировал преступников и их жертвы по полу, возрасту и социальному положению, а также учитывал родство или вид знакомства между преступником и жертвой, род используемого яда и метод его применения, затем географическое распределение по двадцати округам Парижа и сезонное распределение по году. Он предполагал начертить таблицы и нарисовать диаграммы, набросать характеристики преступников и жертв и послать своё сочинение в *Journal des Sciences Naturelles de l'École Normale Supérieure*, и, возможно, когда кончится война, он в качестве приглашённого доцента и

специалиста по отравлениям поездит с лекциями по полицейским академиям Франции.

Неожиданно для Леона начало лета 1940 года протекало ровно и монотонно. Только 23 июня он будет помнить до конца своих дней – то было воскресное утро, когда в небе светились розовые кучерявые облака, и вскоре после восьми на улице Эколь, когда Леон с тремя багетами под мышкой возвращался из булочной, сзади приближалось сытое, жирное урчание мощного автомобиля. Он обернулся и увидел, что его нагоняет лимузин «мерседес», в котором сидят пятеро мужчин в немецких униформах и Адольф Гитлер. Человек на пассажирском сиденье был однозначно Адольф Гитлер, ошибка была исключена. «Мерседес» проехал мимо него резво, но без преувеличенной спешки, сопровождаемый тремя меньшими машинами, и, разумеется, ни Гитлер, ни его спутники не обратили внимания на моего деда, который со своими тремя багетами стоял на тротуаре, растерянно ощущая на себе прикосновение ветра мировой истории.

Как можно было впоследствии прочитать в исторических книгах, за три часа перед этим фюрер в сопровождении своих архитекторов Альберта Шпеера и Германа Гислера, а также скульптора Арно Брекера прилетел со своим первым и последним визитом в Париж на аэродром Ле Бурже и наскоро посетил Оперу, церковь святой Марии Магдалины и площадь Конкорд, через Елисейские Поля подъехал к Триумфальной арке и через Авеню Фош к Трокадеро и дальше к «Эколь Милитэр» и Пантеону; когда он проезжал мимо Леона, он, должно быть, уже возвращался к своему самолёту и ещё ненадолго остановился у Сакре-Кёр, чтобы бросить последний взгляд на покорённый город, который лежал у его ног, только просыпаясь и ни о чём не подозревая.

Если бы у Леона в то утро был при себе пистолет, думал он впоследствии, и будь тот пистолет заряжен и снят с предохранителя, а сам он был бы в состоянии уверенно с ним обращаться, и собери он в это мгновение необходимое присутствие духа и не трать понапрасну время на этически-моральные размышления о западно-христианских максимах поведения, то он, может, и осуществил бы деяние всемирно-исторического значения. Но он лишь стоял, изумлённый, со своими багетами под мышкой, и две-три секунды длящаяся встреча никак не сказалась ни на его дальнейшей жизни, ни на жизни фюрера. Ещё и десятилетия спустя Леон качал головой, не веря, что этот безучастный эпизод остался самым впечатляющим в его жизни и что на дне его души с фотографической точностью запечатлелись краски и свет того летнего утра, тогда как

действительно значительные события его биографии – свадьба, рождения детей, похороны родителей – жили в нём лишь смутными воспоминаниями.

В лаборатории же не происходило ничего волнующего. Лишь раз в несколько дней случалось, что его статистическую работу приходилось прерывать, чтобы проверить подозрительные пробы на содержание крысиного яда или мышьяка. Эти задачи он выполнял с привычной тщательностью и в уверенности, что он и в немецкой оккупации служил доброму делу; ибо независимо от того, кто сейчас отдавал распоряжения в Матиньоне или в Елисейском дворце, по-прежнему действует незыблемый принцип, что ни один человек не имеет права травить ядом другого.

Правда, Леону было ясно, что он как служащий полиции, нравится ему это или нет, был подчинённым маршала Петэна и в конечном счёте подчинялся немецкому командованию; но до тех пор, пока список его обязанностей ограничивается лабораторным доказательством смерти от отравления, он мог надеяться, что и впредь будет жить в ладах со своей совестью.

Но потом наступило утро, когда Леон, как обычно, в четверть девятого явился на работу и нашёл набережную Орфевр опять чёрной от полицейских; они угрюмо стояли под утренним солнцем на мостовой и курили, двери были заперты, а у берега Сены стояла причаленная баржа, в которой Леон опознал одну из тех двух, которые 12 июня сбежали вверх по течению с несколькими миллионами картотечных карточек.

Случайно вблизи Леона опять оказался тот же молодой коллега, которого он расспрашивал месяц назад.

– Что тут происходит?

– А что тут может происходить, – буркнул тот, пожимая плечами. – Немцы поймали баржу.

– Только эту одну?

– Вторая улизнула в Роан.

– А эта что?

– Она села на мель.

– Где?

– В Баньо-сюр-Луан, у Фонтенбло.

– Так близко?

– Перед ним взорвалось судно с боеприпасами и загородило реку. Наши люди замаскировали её под деревьями и кустами, насколько было возможно, но немцы её нашли. Что делать, баржу не скроешь, она всегда остаётся на воде. Она не может удирать огородами или улететь.

– Однако удивительно, что немцы так хорошо знают нашу систему каналов.

– И груз наших барж.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего. А ты что хочешь этим сказать?

– Тоже ничего.

Колокола Нотр-Дама как раз пробили половину девятого, когда на набережную Орфевр подъехала чёрная машина с ведущими передними колёсами префекта полиции. Слева вышел сам Роже Ланжерон, справа рослый молодой человек в горчично-коричневой шляпе и горчично-коричневом плаще, с красной нарукавной повязкой и в очках без оправы, которые придавали его круглому, гладко выбритому лицу сходство с дружелюбно-близоруким гимназистом. Он общительно примкнул к стоящим вблизи мужчинам, протянул им коробку своих сигарет и снова спрятал её в карман плаща после того, как никто не захотел угоститься. Тем временем префект полиции с мегафоном вскочил на подножку своей машины.

– Господа, я прошу вашего внимания. Спецзадание для всех служащих Судебной полиции в соответствии с законами военного времени. Противозаконно вывезенные из бюро 205 документы снова должны быть возвращены на положенное место. Все имеющиеся в наличии мужчины образуют двойной ряд от парапета набережной по лестнице Ф до бюро 205! Поспешите, время поджимает!

Ропот прошёл по толпе, мужчины не сразу отбросили окурки. К преувеличенной спешке они больше не видели повода, поскольку немцы были не на подходе к городу, а давно уже здесь. Постепенно и без удали они сформировали из чёрно-серой массы шляп и плащей требуемый двойной ряд. Казалось, можно было почувствовать на ощупь их недовольство тем, что ту же работу, которую они уже проделали в июне, теперь надо делать в обратном порядке; на каждый шаг, на каждое движение им теперь требовалось в три-четыре раза больше времени, поэтому возврат карточек на место, хотя их было теперь вдвое меньше, чем тогда, длился чуть ли не вдвое дольше, чем эвакуация. В бюро 205 за большим письменным столом сидели префект полиции Ланжерон и мужчина в жёлтом плаще, они открывали то одну, то другую коробку, констатируя, что документы сильно повреждены. На барже за время её месячного отсутствия в них угнездились водяные крысы, жучки и черви, сквозь щели корпуса проникала вода. Во влаге летней погоды чернила расплылись, бумага набухла, дерево и картон расклеились. Ещё до обеденного перерыва Ланжерон и молодой немец приняли решение весь материал, все три миллиона картотечных карточек и единиц хранения переписать и упорядоченно разложить по новым

картотекам и подвесным регистраторам, которые министерство информации поставит сюда в недельный срок.

Но вот только расчёт – даже самый поверхностный – показывал, что сто сотрудников бюро 205 не смогут справиться с этой работой в приемлемые сроки, потому что на каждого из них – наряду с обработкой ежедневных новых поступлений – приходилось бы по тридцать тысяч копий. Итак, сотрудники всех остальных отделений *Судебной полиции* получили распоряжение отставить всю свою работу, кроме неотложной, и приоритетно заняться копированием документов. Для Леона Лё Галля это означало, что ему придётся надолго отложить свою научную статью. Он запер свои записи и лабораторные дневники в шкаф и смирился с тем, что его профессиональное существование на обозримое время будет крутиться вокруг разбухших, волнистых карточек.

Время проходило быстро. Не успел Леон оглянуться, как промелькнули уже три недели за тем занятием, что он разбирал славянские фамилии и переносил их на белоснежные карточки, которые затем должен был укладывать в новенькие картотечные ящики. Vichnevski, Wyshnesky, Wysznevscki, Wishnefskij, Wijschnewscki, Vitchnevcky, Wishnefski, Vishnefskij, а к этому Aaron, Abraham, Achmed, Alexander, Aleksander, Aleksej, Alois, Anatol, Andrej, Andreji и Rue de Rennes, Rue des Capucins, Rue Saint-Denis, Rue Barbès, а также еврей, еврей, еврей, еврей, еврей, коммунист, коммунист, коммунист, коммунист, коммунист, масон, масон, масон, масон, цыган, анархист, извращенец, аморальный, безработный, алкоголик, агрессивный, шизофреник, нимфоманка, расово нечистый.

Леон предавался этой работе с отвращением, какое в последний раз испытывал в возрасте шестнадцати лет, когда его оставляли в школе после уроков и заставляли переписывать Вергилия, тогда как на шербургском пляже море прибивало к берегу интереснейшие предметы, – с той лишь разницей, что на сей раз штрафные работы воспринимались так, будто учитель сошёл с ума и приставил ему к виску дуло перезаряженного пистолета.

Притом что немцы, это Леон должен был признать, в личном общении проявляли изысканную вежливость. Каждый вечер перед окончанием службы мужчина в горчичном плаще совершал обход отделений *Судебной полиции* и собирал скопированные документы, словно пасечник мёд. Фамилия его была Кнохен. Хельмут Кнохен. Он приветливо здоровался и двигался бесшумно, и к своим рабочим пчёлкам он был, как и полагается пасечнику, прямо-таки трогательно заботлив. Чуть ли не каждый день он

справлялся у Леона на культурном, пусть и жёстком французском о самочувствии, жал ему руку и осведомлялся, хватает ли ему кофе и не нужна ли ему более яркая настольная лампа, и при этом невинно смотрел в глаза своими светло-голубыми, сильно увеличенными из-за очков глазами.

Леон бормотал благодарность и говорил, что доволен настольной лампой и кофе. Он ещё достаточно помнил уроки немецкого языка, чтобы оценить поэзию в фамилии Кнохена[2]. В то же время ему трудно было воспринимать во всей его опасности юнца, который хотя и носил форму хауптштурмфюрера СС и являлся шефом охранной полиции, но был вряд ли старше двадцати пяти и носил стрижку «ёжик» как бойскаут. Он не мог себе представить, чтобы этот щенок действительно мог его укусить своими остренькими молочными зубками.

Но однажды в сентябре Кнохен явился с самого утра. В шутку он отстучал в дверь Леона начальный такт Пятой симфонии Бетховена, приоткрыл дверь на узкую щёлочку и заглянул внутрь одним глазом.

– Доброе утро! Можно ли войти в столь непривычно ранний час? Я не помешаю? Или мне заглянуть позже?

– Входите, – сказал Леон.

– Только, пожалуйста, без ложной вежливости! – воскликнул Кнохен и теперь показал вторую половину лица. – Вы здесь хозяин, и я бы ни в коем случае не хотел отрывать вас от работы. Если я не вовремя, я могу без всякого…

– Входите, пожалуйста.

– Спасибо, вы очень дружелюбны.

– Но я должен вас разочаровать, я успел подготовить только две копии.

– Документы? Ах, забудем об этом. Смотрите, что я принёс – вы позволите? – Кнохен сел на стул и щёлкнул пальцами, после чего снаружи в коридоре солдат взял с каталки поднос и принёс на лабораторный стол Леона. – Взгляните – или лучше: понюхайте! Настоящий арабский мокко из итальянской гейзерной кофеварки. Это нечто совсем другое, чем фильтрованное военное варево из поджаренных желудей, которое вы здесь готовите на ваших спиртовках.

– Благодарю вас, но наш кофе мне как раз подходит. С моим кровообращением…

– Ерунда, такая маленькая чашка мокко ещё никого не убила! Я подарю вам такую, вы позволите? Сливки, сахар?

– Нет, спасибо.

– Чёрный безо всего?

– Да, прошу вас.

– Ого, да вы крепкий орешек! Это сказывается ваше норманнское происхождение? Или профессия? Столько смертей от отравления закаляет против горечи жизни?

– Ничуть, к сожалению.

– Скорее напротив, не так ли? Я так и подумал. Со временем становишься тонкокожим, со мной то же самое. Или будет то же самое, когда я переживу столько, сколько вы. Как вам кофе?

– Отличный.

– Не правда ли? Мне придётся подумать о том, чтобы вашему отделу раз в неделю поставляли пачку кофе. А гейзерную кофеварку я оставлю здесь, она хорошо подойдёт к вашим спиртовкам. Могу я сделать для вас ещё что-нибудь? Может, круассан?

Леон отрицательно помотал головой.

– Вы уверены? У моего адъютанта есть. Совсем свежие, на настоящем масле.

– Действительно нет, большое спасибо. Пожалуйста, не затрудняйте себя.

– Как хотите месьё Лё Галль. А скажите мне: ваше рабочее место… – он сделал своими маленькими, ухоженными руками охватывающий жест – …тут всё в порядке?

– Конечно. Я ко всему тут привык за многие годы.

– Это приятно слышать. Ведь смотрите, мне в самом деле важно, чтобы вы могли здесь работать в самых лучших условиях.

– Благодарю вас.

– Только в приличных условиях человек может выполнять работу хорошо, я это всегда говорю. Разве не так?

– Так точно.

– Вы непременно должны дать мне знать, если я могу для вас что-то сделать.

– Большое спасибо.

Кнохен встал и подошёл к окну.

– Чудесный вид открывается у вас отсюда. Всё-таки Париж великолепный город. Красивейший город мира, я считаю. Берлин по сравнению с ним просто то, чем он и был всегда: прусская провинциальная дыра. Я ведь прав?

– Как скажете, месьё.

– Вы уже были в Берлине?

– Нет.

– Ну, вы не так много потеряли, во всяком случае до сих пор. Сам-то я из Магдебурга, бог ты мой. Но скажите, разве парижанин в состоянии оценить красоту этого города света? Вы вообще воспринимаете этот вид из окна?

– К этому привыкаешь. После двадцати лет.

– Великолепно. Вид великолепный. А здесь внутри, наоборот, освещение, я бы сказал, слабоватое. Вы уверены, что этого освещения вам хватает для письменных работ?

– Я справляюсь.

– В самом деле? Приятно слышать. – Он снова щёлкнул пальцами, после чего адъютант внёс два ящика картотеки. – Я не хочу отнимать у вас время мелочами, я только хотел показать вам вот это. Вы знаете, что это у меня? Это… – он указал на один из ящиков – …последние сто карточек, скопированные вашей рукой. А вот это… – он указал на другой ящик – …сответствующие оригиналы. Знаете, что бросилось мне в глаза при сравнении этих двух ящиков?

– Что?

– Это неприятно, и вы не должны на меня обижаться, хорошо?

– Я прошу вас.

– Мне бросилось в глаза, что у вас очень много ошибок при переписывании. Поэтому я пришёл к мысли, что, может быть, здесь недостаточное освещение. Пожалуйста, простите мне вопрос, но как обстоят дела с вашим зрением?

– До сих пор всё было хорошо.

– В самом деле? Вы всё ещё не носите очки?

– К счастью, нет.

– Это хорошо. Вы ведь уже не так молоды, верно? Сколько вам, собственно, лет, если можно спросить – лет сорок, не так ли?

– Мне очень неприятно, месьё, что у меня ошибки.

Кнохен отмахнулся:

– Разумеется, это мелочи и простительные грехи, не принимайте близко к сердцу. Однако вы согласитесь со мной, что в управлении малейшая ошибка может иметь опустошительные последствия, не так ли?

– Конечно.

– Не мне объяснять это вам как учёному, я понимаю. Взгляните, вот, например, написано Yaruzelskj вместо Jaruzelsky. Если расположить эту карточку корректно по алфавиту на Y, мы никогда не найдём этого человека. Или вот: Rue de l'Avoin вместо Rue des Moines – улицы с таким названием вообще нет. Или эта дата рождения: 23 июля 1961 года – этот человек вообще ещё не родился. Понимаете, месьё Лё Галль?

– Так точно.

– Я позволил себе сопоставить все эти сто карточек с оригиналами и сосчитал те, что с ошибками. И знаете, сколько их оказалось?

– Я сожалею…

– Ну, угадайте, давайте же, наугад! Как вы думаете: восемь?

Пятнадцать? Двадцать три?

Леон пожал плечами.

– Семьдесят три! Семьдесят три из ста штук, месьё Лё Галль! В процентах это будет, дайте-ка прикинуть, сейчас… ах, что это я, конечно же, идиот: семьдесят три процента! Это много, не так ли?

– Действительно.

– Почти всегда это минимальные ошибки, не вопрос – но самая опасная неправда – это умеренно искажённая правда, это ещё Лихтенберг сказал. Согласны вы со мной?

– Конечно.

Кнохен опять сделал пренебрежительное движение рукой:

– Не огорчайтесь, у каждого из нас бывают ошибки. Правда, надо сказать, что у вас их поразительно много. Знаете, какова средняя квота ошибок у ваших коллег?

– Нет.

– Одиннадцать целых, девять десятых процента.

– Я понимаю.

– Это хорошо, что вы меня понимаете. Теперь важно, чтобы мы устранили источник ошибок, тогда наступит улучшение, не так ли? Не так ли, месьё Лё Галль?

– Да.

– Есть у вас какое-то объяснение для вашей высокой квоты?

– Некоторые карточки трудночитаемы.

– Конечно, – сказал Кнохен. – Но ваши коллеги управляются с точно таким же повреждённым материалом, не так ли? Или вы полагаете возможным, что наиболее повреждённые карточки в статистически релевантной мере попадают именно к вам? И это попадание случайно, или мы должны расследовать причины?

Леон пожал плечами.

– Вот видите, поэтому я и задумался о лампе и очках для чтения. Ведь должно быть какое-то объяснение тому, что у вас столько ошибок. Разумеется, мои коллеги по СС при такой квоте тут же кричат про саботаж и государственную измену. Вам уже приходилось иметь дело с СС?

– Нет.

– Есть среди них, между нами говоря, пара-тройка действительно горячих голов, которым лучше не попадаться ночью в тёмном переулке. Знаете, что они делают с саботажниками? Вначале то-сё, а потом отправляют в концлагерь Дранси и ставят к стенке. Или бросают в Сену со связанными руками. Или оставят вас валяться в ближайшей дорожной канаве с пулей в затылке. По военным законам. Им это можно.

– Я понимаю.

– Это ребята с горячей кровью. Не все хорошо воспитаны, что

поделаешь. Но не беспокойтесь, месьё Лё Галль, в этом здании пока что всем распоряжаюсь я, насколько возможно. И я говорю, надо обеспечивать людям хорошие условия для работы, если от них требуется хорошая работа.

Он ещё раз щёлкнул пальцами, и солдат внёс большую настольную лампу с зеркальным отражателем.

– Вы можете говорить что хотите, но для хорошей работы необходим хороший свет. Только оттого, что вы привыкли к старой коптилке, это не значит, что она даёт хороший свет. Вы ведь позволите, мы её сразу прихватим, а эту подключим вместо неё?

– Если вы настаиваете.

– Это «сименс», так сказать, «мерседес» среди настольных ламп, никакого сравнения с вашей коптилкой. Если вы ещё при этом дадите мне расписку в получении, то всё будет в полном порядке. Порядок в управлении важен, не так ли?

– Так точно, месьё. А кофе?

– А что с кофе?

– За него вам не надо расписку?

– Вы надо мной смеётесь, Лё Галль, это несправедливо. Я не педант и не мелочная душа, поймите меня правильно. Мне лично не нужна никакая расписка. Лично я склоняюсь к той точке зрения, что жизнь сама нам за всё когда-нибудь без спросу выставит расписку. Но администрация не может ждать до нашей блаженной кончины, расписки нужны ей немедленно. И справедливости ради нужно сказать, что управление не есть самоцель, оно в конечном счёте всегда служит человеку. Разве это не так?

– Само собой разумеется.

– Поэтому ошибка систематизации, я всегда это говорю, влечёт за собой тяжкие человеческие последствия. Но я здесь болтаю и болтаю, а ведь у вас ещё столько работы. До свидания, Лё Галль, до вечера!

– До свидания.

Кнохен в развевающемся плаще быстро вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Мгновение спустя он распахнул её снова.

– Чуть не забыл, вам надо в обеденный перерыв заглянуть в детский сад на улице Лёжон, мне звонила директриса. Ваша маленькая дочка – как там её зовут, четырёхлетняя – Марианна?

– Мюрьель.

– Маленькая Мюрьель сегодня утром якобы бросила со двора камень в окно туалета на третьем этаже.

– Мюрьель?

Этот человек опять сделал своё пренебрежительное движение

рукой:

– Это, конечно, ерунда и быстро разъяснится. Как четырёхлетняя девочка может добросить до третьего этажа булыжник, не так ли? Должно быть, кто-то что-то перепутал, типичная ошибка систематизации. Но, может, всё-таки лучше, чтобы вы заглянули туда в обеденный перерыв. Как мне сообщили, малышку заперли в угольном подвале, так сказать, арест должника, который отказывается от уплаты долга, и она там орёт-надрывается.

Леон быстро отодвинулся на стуле и хотел встать, но тут Кнохен схватил его за плечо и придавил его обратно к стулу.

– Без спешки, месьё Лё Галль, не волнуйтесь. Самое лучшее, если мы предоставим всё естественному ходу вещей и установленному порядку, не так ли? Сначала работа, а потом уже частная жизнь. Вам ещё осталось два часа прилежной письменной работы, а потом обед, и вы отправитесь на улицу Лёжон. Директор, должно быть, узколобый идиот, позволю себе сказать. Если он не захочет выпустить вашу дочку из угольного подвала, передайте ему привет от хауптштурмфюрера Кнохена, это должно оказать своё действие. До свидания, месьё, и радостной работы! Желаю вам приятного дня!

ГЛАВА 15

Потом пришла зима 1940–1941 года, и в Париже стало холодно. Летом переход на немецкое время подарил французам долгие, светлые вечера, когда солнце садилось только после десяти часов и даже в полночь последние полоски дневного света всё ещё тлели на горизонте. Но сейчас они расплачивались за это, поскольку рабочие дни начинались среди ночи. Леон вставал затемно и брился при бледном свете лампочки; во время завтрака он мог видеть своё отражение в тёмном окне, а когда шёл на работу, на небе мерцали звёзды, как будто это было не раннее утро, а уже снова вечер.

В том, что касалось работы на набережной Орфевр, этой зимой Леону стало ясно, что право превратилось в несправедливость, а несправедливость – в закон; сброд стал новым высшим классом, а законы писались мошенниками. В коридорах служащие шёпотом рассказывали друг другу последние новости о самых знаменитых бандитах Парижа – «Пьеро-Чемодан», «Злой Франсуа» или «Ритон-Пожар», которые обменяли свои тюремные сроки в десять, пятнадцать или двадцать лет на свободу, автомобили и горючее к ним, а также на огнестрельное оружие и немецкие полицейские удостоверения. Дело ещё не дошло до того, чтобы они заявились средь бела дня на набережную Орфевр, чтобы арестовать тех полицейских, которым они были обязаны своими сроками, но все понимали, что ждать этого осталось недолго.

И хотя сейчас Леону было только на руку то, что он делал свою работу анонимно, без связи с внешним миром, тем не менее, каждое утро, проходя по лестничной клетке мимо разных департаментов, он нутром чуял опасность, и ему было ясно, что любой коллега, любая секретарша, любой вахтёр мог оказаться приспешником бандита и убийцей. Выхода из этого положения он не видел. Поэтому забивался в свою лабораторию, делал свою работу и тщательно избегал любых необязательных встреч.

Уже в ноябре обширный циклон принёс в город сибирский холод. Бензин и дизельное топливо стали дефицитом, по улицам теперь ездили только велосипедисты, рикши и извозчики, а если проезжал автомобиль, можно было не сомневаться, что за рулём сидит либо немец, либо коллаборационист. Больше всего бросалась в глаза тишина на улицах и холодное молчание людей. Смолк уличный шум прежних дней, теперь можно было услышать лишь скрип торопливых шагов по мёрзлому снегу, да иногда кашель, быстрое приветствие или унылые призывы разносчиков

газет, которые уже давно не верили, что смогут продать свои надиктованные немцами листки.

Очереди беззвучно стояли у магазинов, а полицейский на углу делал вид, что его вообще там нет. Люди набивались в кафе – в тепло кофеварок и ярких ликёрных бутылок, большинство из которых были запрещены, и молчаливо разглядывали пожелтевший рекламный календарь мартини и листок с законом о запрете публичного распития спиртных напитков; многие лица простуженно блестели или рдели покрасневшими носами, большинство не снимало шапок, шерстяных шарфов и перчаток, и весь их вид говорил о том, что они сбежали из квартир, где вряд ли было теплее, чем на улице.

Лё Галли ложились спать в длинных чулках, перчатках и шерстяных свитерах, а рано утром соскребали с оконных стёкол иней от своего дыхания. Леон от случая к случаю приносил домой вязанку дров, раздобытых на чёрном рынке, тогда они сидели вечером в гостиной у камина и от непривычного тепла засыпали прямо тут – кто на диване, кто в кресле или на персидском ковре; далеко за полночь, когда дрова прогорали и холод сквозь щели и трещины вновь забивался в дом, Ивонна и Леон переносили детей одного за другим в кровати.

В одну из таких ночей они зачали своего маленького последыша Филиппа, которому, в свою очередь, двадцатью годами позже, в сентябре 1960 года, будет суждено познакомиться на бульваре Сен-Мишель с молодой девушкой из Швейцарии, которая оказалась там проездом в Оксфорд на учёбу, но тут продлила свою остановку и однажды тёплым осенним вечером пошла с Филиппом в мансардную комнату на улицу Эколь, отчего девятью месяцами позже на свет появился мальчуган, которого в церкви Сен-Николя-дю-Шардоне нарекли моим именем.

Как бы то ни было, все они оставались здоровыми и не голодали. Поскольку Леон и Ивонна ещё хорошо помнили Первую мировую, они со дня объявления войны собирали аварийный запас. Так как до осени цены росли умеренно, они забили шкафы мешками с рисом, пшеницей и овсом; к тому же в окне над туалетом, за невзрачной занавеской, за которой никакой мародёр не заподозрил бы продовольственные продукты, уместились сотни баночек с фасолью, горохом, сгущённым молоком и яблочным пюре.

Даже яйца, масло, колбаса и мясо регулярно появлялись на столе, с тех пор как старший сын Мишель раз в месяц в выходные повадился ездить в Руан к тёте Софи, которая водила знакомство с какими-то нормандскими фермерами. Шестнадцатилетнему

Мишелю очень нравилось идти субботним утром на вокзал Сен-Лазар с полными карманами денег и с рутиной завзятого путешественника садиться в поезд на Руан; несколько менее приятным было воскресное возвращение с тяжёлым, набитым под завязку чемоданом, который ему приходилось тащить на себе целых три километра, с оглядкой на полицейских и солдат вермахта, от вокзала до улицы Эколь.

Труднее всех в эту зиму было Ивонне. С тех пор, как большая политика сочла необходимым запереть маленькую Мюрьель в подвал, после чего она стала писаться в постель, острый рассудок Ивонны был день и ночь занят тем, чтобы сохранить семью здоровой, сплочённой и сильной. Записям сновидений пришёл конец, розовые очки, свободные летние наряды и незатейливые песенки тоже остались в прошлом. Все её мысли теперь вращались вокруг одного вопроса, как ей защитить, прокормить и обогреть мужа и детей до конца войны и как отвести от них горе и беду.

Она следовала этой цели с хитростью тайного агента, с жертвенностью религиозной фанатички и с безоглядной отвагой танкиста. По утрам она отводила своих детей в школу – одного за другим, в том числе старшего Мишеля, который тщетно протестовал против материнского конвоя, а вечером всех забирала. Утром, прежде чем отпустить Леона из дома, она выглядывала из окна гостиной, осматривая улицу направо и налево, нет ли какой опасности; а если он задерживался с работы на несколько минут, бежала ему навстречу с горькими упрёками.

Если кто-то из детей кашлял, она, пуская в ход враньё, фальшивые деньги и своё декольте, добывала мёд, липовый чай и сиролин, а когда однажды на кухне замёрзла вода, она средь бела дня, на глазах у зевак собственноручно срубила небольшую акацию перед румынской церковью, притащила целое дерево домой и изрубила его во внутреннем дворике на дрова.

Услышав однажды ночью на лестнице какой то странный шум, она на следующий же день купила на чёрном рынке маузер калибра семь и шесть с патронами и объявила своему недовольному мужу, что без предупреждения пристрелит любого чужака, вошедшего в квартиру против её воли. Когда Леон напомнил ей, что пистолет, который в первом акте висит на стене, во втором неминуемо должен выстрелить, она пожала плечами и сказала, что реальная жизнь подчиняется другим законам, нежели русский театр. А когда он спросил, почему она выбрала именно немецкий пистолет, она объяснила, что немецкие органы дознания, если найдут в немецком трупе немецкую пулю, скорее всего будут искать и немецкого стрелка.

Спаяло ли трудное время Леона с Ивонной ещё теснее, оттого что они много раз доказали друг другу на деле свою надёжность и верность, облетела ли с них в условиях постоянной опасности последняя надежда на романтическую любовь, поскольку им приходилось действовать как боевым товарищам – и стали ли они от этого ближе друг другу или нет, сказать трудно; скорее всего они никогда и не спрашивали себя об этом. Ибо значение имела не этикетка и не название их союза, а ежедневное выживание; и помимо всякой метафизики само время попросту создало факты, которые были весомее всяких слов.

Таков был факт, что обоим было за сорок, и с определённой вероятностью они уже пересекли середину своей жизни. И арифметически выходило так, что из своей прежней жизни половину они провели вместе и скоро число их ночей в супружеской постели перевесит число их ночей, проведённых порознь. Уже было видно, что их дети, поразительно быстро взрослеющие, скоро выйдут в мир живым доказательством того, что Ивонна и Леон были вполне приличными родителями. Скоро дни, что ещё оставались им на земле, побегут всё быстрее, а сумма их общих воспоминаний станет так велика, что будет в любом случае отраднее надежды на какую бы то ни было жизнь друг без друга.

Конечно, может случиться так, что по какой-то причине однажды она уйдёт от него или он от неё. Но это будет не началом новой жизни, а продолжением их прежней жизни в новых обстоятельствах. Второй жизни не бывать, у них есть только эта. На первый взгляд это могло показаться убийственным, но на второй – утешительным, ведь это значило, что их прошлая жизнь была не случайностью, а являлась обязательной предпосылкой всему тому, что ещё произойдёт.

Леон был мужчиной всей жизни Ивонны, а она была женщиной его жизни, для ревности больше не было повода. В этом уже ничего не изменишь, даже если они всё же лишатся друг друга – из-за какой-нибудь катастрофы или по старческой глупости. Просто уже не оставалось времени на то, чтобы с кем-то другим провести в другой супружеской постели столько же ночей, сколько они уже провели вместе.

Для Леона, который уже давно привык иметь в жизни двух женщин – одну рядом, а другую в мыслях – это мало что изменило бы, а вот душа Ивонны теперь, наконец, обрела покой. Для неё тоже решился вопрос, созданы ли они друг для друга или нет, и уже было неважно, страстно ли они любили друг друга или вполсердца, да и любили ли вообще, а то, может, притворялись или ошибочно полагали, что любят. Единственно важным теперь

было то, что уже свершилось. Вот так всё было просто.

И если без громких слов, то Ивонна должна была признаться себе, что Леон ей по-прежнему нравился – может, даже больше, чем раньше – в его флегматичной мужественности. Она любила лёгкий шум его шагов, когда он поднимался по лестнице, тяжелые звуки его поступи, когда он шёл по коридору, ей нравилось ненаигранное добродушие его голоса и сильный, но не резкий запах его тела, исходящий от пальто, которое он вешал в шкаф, вернувшись с работы.

Ей нравилось, что дети, даже подросшие, всё ещё лезли к нему на колени и там затихали и успокаивались, и ещё ей нравилось, что он не сцепляет ладони на животе, как это обычно делают мужчины, начиная с определённого возраста, и что он ещё не кряхтит, поднимаясь, и что у него ещё не проявилась склонность к всезнайству и пространным нравоучениям.

Ей нравилось, что его натуре были чужды вспыльчивость и жестокость, и ещё больше ей нравилось, что ночью во сне он обнимает её своими длинными руками. И даже если ему снилась при этом другая женщина – сила фактов была на её стороне. Фактически она была женщиной его объятий.

Медина, берег реки Сенегал

24 декабря 1940

Мой любимый Леон,

жив ли ты ещё? Я пока жива. Только что я выбросила через парапет террасы в реку Сенегал объедки безумно жёсткой курицы, которую ела на обед; сейчас за них дерутся карликовые крокодилы, а бегемоты лениво наблюдают за этим, разинув пасти, пока эти странные птички своими острыми клювами достают застрявшие между их зубов остатки пережёванных кувшинок.

Скоро сядет солнце, и муэдзин призовёт на вечернюю молитву, затем наступит час нашествия комаров; я провожу его в нашей крепости, в курилке при офицерской столовой, там толстые каменные стены и плотные москитные сетки на окнах. Это единственное более или менее обжитое здание в этом старом, разрушенном колониальном городе; все остальные европейские дома в руинах, на которых растут молодые деревья и хижины африканцев. В курилке компанию мне составляют комендант крепости, два его сержанта и двое моих коллег из Банка Франции; ещё Джилиано Галиани – чванливый радист с «Виктора Шёльхера», ты помнишь;

он был у нас прикомандированным офицером связи, только связываться теперь не с кем.

До ужина мы сидим в плетёных креслах и курим, тем временем в казармах у стен крепости девяносто сенегальских стрелков, которые охраняют наш драгоценный груз (о котором мне больше нельзя говорить) поют заунывные песни о любви, смерти и тоске по родине. Когда звонят к обеду, мы перемещаемся в салон, где над обеденным столом со страшным скрежетом крутится вентилятор со ржавыми лопастями, который того и гляди сорвётся с потолка и в ту же сотую долю секунды в один круг безукоризненно нас обезглавит.

А пока это не произошло, мы покорно сидим там и потеем, клянём жару и наперебой фантазируем о вагонах, гружённых холодным пивом и шампанским, а когда уже ничего не приходит в голову, кто-нибудь из мужчин отчитывается о своих приключениях за день, при этом неизбежным лейтмотивом является хроническая ненадёжность и тунеядство африканцев.

Нашим надзирателям и впрямь очень сложно заставить людей работать; каждый африканец так и норовит укрыться в тени ближайшего баобаба, как только кнут исчезает из виду. Лично я их понимаю: при пятидесяти градусах жары дробить для нас камень, таскать воду и рубить дрова – удовольствие небольшое; мы-то и себя с трудом носим в этом климате.

Правду сказать, и местные народы – малинке, волоф и тукулёры – никогда не рвались бесплатно на нас вкалывать и, насколько я знаю, никогда нас не звали сюда, не навязывали нам свою дружбу, а когда мы припёрлись сами, они не упрашивали нас остаться подольше. Тем не менее, мы неизменно удивляемся, что нашим надсмотрщикам приходится плетью взыскивать с них требуемое гостеприимство.

Эти вечные плети и побои, крики, кровь и унижения всем тут портят настроение – не только тем, кого бьют, но и тем, кто бьёт, с последними я вечер за вечером просиживаю в курилке. В первые недели я часто недоумевала, как этим бойцам с плётками удаётся совсем не иметь сострадания, быть такими жестокими и свободными от всякой человечности. Но потом я поняла, что у людей с плетью, если их никто не сдерживает, развивается мания, которая заставляет их избивать со

всё большей жестокостью, поскольку лишь постоянным повторением насилия подтверждается собственное превосходство над жертвой и тем самым достигается оправдание очевидной несправедливости насилия.

К тому же я хорошо узнала моих избивающих коллег, с которыми я круглые сутки вместе; я слышу, как они кричат по ночам, катаясь в собственном поту от кошмаров, я слышу как они скулят и зовут маму, я слышу, как они выкрикивают приказы и бросают гранаты, я слышу, как они бегут по траншеям в Шеман-де-Дам, куда они возвращаются из ночи в ночь вот уже четверть века, спасаясь от островерхих касок германских пехотинцев и отравляющего газа и в поисках своей потерянной человечности.

Особенно грустно то, что в Шеман-де-Дам были не только надсмотрщики, но и избиваемые, плечом к плечу со своими мучителями. И ещё грустнее перспектива того, что битые однажды восстанут и сами возьмутся за плеть, и избиения, если никто не вмешается, будут и дальше наследоваться от поколения к поколению до скончания века.

В целом нам здесь живётся, я бы сказала, как немецким оккупантам в Париже, которые, по слухам, тоже не очень довольны тем, что французы не очень-то гостеприимны к ним, хотя они не ввели танки в город и вообще ведут себя прилично. Интересно, что надзиратель, на десять минут отложив плеть, тут же хочет, чтобы избиваемый его любил.

Однажды в офицерской столовой между закуской и главным блюдом я высказала мысль, что мы здесь в Сенегале повторяем судьбу немцев, от которых сами бежали, что мы тоже вроде немцев в Западной Африке. Мои слова были встречены в штыки. С тех пор я поняла, что лучше помалкивать, о чём ты думаешь. А ещё лучше не показывать, что ты вообще думаешь.

Собственно, мне нельзя писать тебе ни строчки, здесь за границей по-прежнему всё засекречено; я совсем потеряла бдительность в моём последнем письме, раскрыв тебе всю историю перевозки груза в уверенности, что теперь это уже неважно. С тех пор комендант взялся за меня, подробно разъясняя, что очень многое зависит от того, о чём щебечет машинисточка в безветреный вечер, запивая масляное печенье медовым молоком, когда у неё от скуки чешется

язык, и что во времена вроде нашего лишняя болтовня может легко довести до казни. С тех пор я держу себя в руках, а язык за зубами: отечество есть отечество; с другой стороны, мы оба с тобой ещё живы, а что касается меня, то я чувствую себя тем ближе к тебе, чем дальше от тебя нахожусь.

Хотела бы я знать, отчего это не проходит со временем, ведь – будем откровенны – не такой уж ты единственный и неповторимый. Но я всё же рада этой постоянной небольшой душевной боли, которую ты причиняешь мне; во-первых, в боли есть что-то утешительное, поскольку она присуща лишь живым, а во-вторых, я точно знаю, что ты её ощущаешь так же, как и я.

Не проходит дня или часа, чтоб мне не хотелось рассказать тебе то или это, или чтоб я не пожалела о том, что ты не можешь видеть то, что вижу я, и что я не могу услышать, что ты об этом сказал бы. И если я сейчас, вопреки всем инструкциям, пишу тебе эти строки, то лишь потому, что другой возможности может ещё долго не представиться; мой коллега Дёляпорт, заболев жёлтой лихорадкой, получил разрешение на поездку в Дакар, он возьмёт моё письмо и позаботится о том, чтобы оно пришло на улицу Эколь нераспечатанным.

Полгода прошло с тех пор, как я тебе писала из порта Лорьяна. Время летит быстро, особенно когда много чего происходит, а ещё быстрее, когда ничего не происходит… и прямо сейчас, когда я тебе пишу, эта птица опять начинает и когда-нибудь сведёт меня с ума. Она кричит: рууку-дии, рууку-дии, рууку-дии – часы, дни и ночи напролёт, и откуда только силы берёт, постоянно только рууку-дии, рууку-дии, руукиу-дии, пока я с растерзанными нервами, заткнув уши пальцами, не засыпаю поздней ночью, поэтому я так и не узнала, унимается ли эта тварь хотя бы на час за всю ночь или нет. Не пойми меня превратно, наверняка это безобидная птица, и, конечно, она – как и все мы – имеет право на своё место под солнцем и, если быть объективной, не такой уж и громкий или пронзительный у неё крик; и всё же он доводит меня до белого каления так, что я уже не раз выбегала наружу с пистолетом (конечно, у меня здесь есть пистолет) и застрелила бы эту тварь без колебаний, если бы смогла углядеть её в ветках акации,

где она, вероятно, сидит.

Эта птица ничего мне не сделала, может, она вегетарианка и кричит своё рууку-дии, рууку-дии по достойным мотивам, возможно, в целях защиты территории, или, может быть, с целью передачи генетического материала или просто для удовольствия. В поисках объяснения её невероятной выносливости я додумалась, что она может заключаться в дыхательной системе птицы, устроенной иначе, чем у нас, млекопитающих; в колледже мне приходилось рисовать на эту тему картинки синими и красными карандашами, но теперь мне не вспомнить детали. Вроде бы у птиц воздух протекает через лёгкие только в одном направлении, так? Но куда же, чёрт возьми, он потом девается у этих тварей? Конечно, здесь нет ни души с намёком на орнитологическое образование или справочника «Лярусс», где я бы могла посмотреть; и то и другое я бы, наверное, нашла в Дакаре, но он отсюда в тысяче километров к западу и недосягаем без официального разрешения, которое мне по человеческим меркам не получить до конца войны.

Если бы я была дома в Париже, а птица сидела бы на моём подоконнике, я бы вряд ли обратила на неё внимание. Но здесь, в монотонности этих красных, железорудных холмов с их вечнозелёными акациями и баобабами, где мне до смерти скучно в бессобытийности дней, в праздности моих часов, в тиши ночей, где в темноте не слышно ни звука, кроме далёкого воя гиен, близко прошмыгнувшей тени человека, сонных стонов моих спутников да ещё этой птицы, которая всё время кричит рууку-дии, рууку-дии, рууку-дии, иногда мне становится так скучно, что я мечтаю о какой-нибудь катастрофе, урагане, землетрясении или вторжение вермахта, который всё бы здесь разнёс.

Кстати, от описания ландшафта я воздержусь. Конечно, тут есть равнины и холмы, а также реки и всякая флора и фауна, а небо ночами черным-черно и переполнено звёздами. Об этом я могла бы долго и возвышенно рассуждать, будь я английской леди и проезжай на поезде мимо. Но обстоятельства сложились так, что я не английская леди и не проезжаю мимо, а сошла и осталась, отчего справляю нужду под кустом, а еженедельную ванну принимаю в реке, не забывая про гиен и аллигаторов… и вот что я хочу этим сказать:

когда живёшь среди ландшафта, он уже не может быть объектом эстетического рассмотрения. Тогда он становится чертовски серьёзной штукой.

Здесь есть лунатические младшие офицеры, которые хотят затащить меня в кусты. Я должна избегать прямых солнечных лучей и успевать до очередного ливня под крышу. Я мучаюсь со своей пишущей машинкой, у которой с недавних пор западают буквы A, V, P и Z. Я должна чистить зубы стерильной водой, и для моей карьеры было бы неплохо уметь приветливо здороваться на овощном рынке с жёнами короля племени малинке, которые все пять – нестерпимо надменные курицы… Одним словом, если я хочу выжить, то должна здесь, при всей скуке, держать ухо востро и не могу позволить себе поэзию деревьев, гор и баобабов.

В отличие от меня, наш связист Джилиано Галиани, которому нечего связывать, прекрасно развлекается. Он носит старый французский тропический шлем, который, уходя по утрам на охоту, надевает набекрень, чтобы тот не мешал ему целиться. К полудню этот ушедший в рост Наполеон со счастливым характером, который скорее умрёт от повышенного давления крови, чем от рака печени, возвращается из чащи с антилопой за плечом, а после обеда гордо шествует по рынку, подмигивая длинноногим девушкам племени фула с маленькими твёрдыми грудками, и те в свою очередь, нежно покраснев, улыбаются ему, как если бы их знакомство уже состоялось совсем в другое время и в другом месте.

Вечерами он сидит, скрестив ноги, у местных деревенских у огня и прекрасно общается на всех здешних наречиях, из каждого усвоив пару выражений, а иногда ночь проглатывает его, и он снова появляется лишь назавтра или через день. Мне следует брать пример с этого человека.

Конечно, ты беспокоишься обо мне. Не нужно, я справляюсь. Моя самая большая забота – это пищеварение, вторая забота – скука, а третья – это факт, что я единственная белая женщина в округе на пятнадцать километров; это способствует моей популярности среди белых мужчин из моего окружения, от которой я бы с удовольствием отказалась.

А ты? Жив ли ты вообще, мой дорогой Леон? Не голодаешь ли ты в тот момент, когда я жалуюсь тебе на жёсткую курицу? Не мёрзнут ли Твои Малыши в тот

момент, когда пот стекает у меня со лба в глаза? Не живёте ли вы в страхе и тревоге, в то время как я маюсь от скуки? Не стреляют ли на улицах Парижа, не падают ли бомбы с неба?

Как бы мне хотелось обо всём узнать, но я понимаю, что ты не сможешь мне ответить; даже не пытайся, мы уже несколько месяцев не получаем писем, а телефон и телеграф уже давно мертвы. Я ужасно беспокоюсь о тебе, и тем ужаснее, что у меня нет никаких новостей от тебя, и нет возможности помочь тебе, если бы тебе потребовалась моя помощь.

Между нами лежит четыре тысячи пятьсот километров, нас разделяет океан и огромнейшая в мире пустыня, между нами стоят нацисты, фашисты и союзники, а также – как будто этого мало – маршал Филипп Петэн и генерал Шарль де Голль, а также Франциско Франко и Адольф Гитлер, и почти все они гонятся за нами (за мной, по крайней мере, или мне так кажется).

Рууку-дии, рууку-дии, рууку-дии, – кричит птица, а красные холмы пылают от заката. Никаких других птиц из моей комнаты не слышно, только это рууку-дии, рууку-дии, рууку-дии, и я спрашиваю себя, а может, она и впрямь всего одна, одна-единственная особь, или множество экземпляров одного вида сменяют друг друга, чтобы объединёнными усилиями свести меня с ума.

За первое говорит то обстоятельство, что рууку-дии звучит всегда одноголосо, а не многогласно, а против – простая вероятность: почему, как назло, во всей округе должен быть только один экземпляр этого вида? Потому что это последняя птица из своего вымирающего вида? Потому что она залетела сюда случайно, а на самом деле принадлежит совсем другому месту – может быть, Финляндии или Саарбрюккену? Не прогнала ли она из своего ареала остальных сородичей обоего пола в избытке похоти, а теперь в одиноком отчаянии кличет их назад, неутомимо взывая к пустыне до скончания века? Может, сидит там наверху в акациях вовсе не экзотическое чудо в перьях, а совсем обычный голубь, который только потому кричит рууку-дии вместо гругруу-гругруу, что у него с рожденья деформированная гортань? Не потому ли этот голубь так отчаянно настойчив, что его искажённый крик непонятен другим голубям?

Здесь сильно глупеешь. Мы отрезаны от родины и от своих любимых, мы не получаем ни почты, ни газет, нам давно не платили зарплату, и мы понятия не имеем, когда нас сменят и сменят ли вообще. Меня изматывает не жара, не вездесущая пыль в засушливый сезон и грязь в остальное время года, не гиены и не змеи, и не инакость людей, с которыми мы при всей привычке никогда не будем близки, ибо нас разделяет плетка и должна разделять до того неотвратимого дня, когда чёрный человек отправит белого человека домой; и не однообразие ландшафта с её неизменно одинаковыми акациями и баобабами, которые тянутся на сотни километров и лишь иногда оживляются холмиками, которые не стоят даже упоминания; а изматывает меня отсутствие бетона и электрического света, книжных магазинов, булочных и продавцов газет; отсутствие общественных парковых скамеек и дождливых воскресных вечеров, которые проводишь в кино; мне не хватает шоколадных эклеров, мимолётных разговоров в бюро, быстрого стейка с картошкой фри на обед и хорошего ужина в «У Граффа» рядом с Мулен Руж; мне не хватает визга трамвая и грохота метро, а с каким бы удовольствием я снова отправилась тёплым летним вечером на длинную прогулку по парку Тюильри под руку с моим юным почитателем из музея Человека, который, на самом деле, не так уж юн, но, надеюсь, всё ещё считает меня дамой.

Поскольку всего этого здесь нет, я занимаю себя теми явлениями, какие есть под рукой. Я не устаю удивляться тому, что в африканской жаре не дождёшься, когда же отварной картофель можно будет есть, так долго он остывает; и наоборот, когда пьёшь утренний кофе, не нужно торопиться, так как пройдёт несколько часов, прежде чем он остынет. Забавным я нахожу также, что африканцев в ночной темноте практически не видно, тогда как мы, белые, светимся издалека при малейшем звёздном освещении.

И потом, здесь есть очень своенравное дерево (Acacia Albida), которое в середине сезона дождей, когда всё пышно зеленеет, сбрасывает свои перистые листья и стоит как мёртвое со своим голым белым стволом; в сухое же время, когда всё вокруг на многие месяцы засыхает и скрючивается, оно снова распускается, цветёт и победно пышет насыщенной зеленью, словно отовсюду

видное доказательство того, что жизнь, даже в самых враждебных условиях, после долгих лишений и казавшихся бесконечными времён истребления и смерти продолжается, – надеюсь, для тебя здесь не слишком много аллегорий и метафор. А для меня уже многовато.

И пока из меня не полилось пространное повествование о спокойных водах реки Сенегал или о её плодородных берегах, по которым растут сады, цветут орхидеи и высиживают птенцов райские птицы, разносящие пламя жизни, я остановлюсь и буду закругляться. Вот только ещё одно лирическое отступление: африканцы, когда у них жар, для исцеления вставляют себе в анус – это мне не раз подтверждали – стручок перца.

Я целую тебя нежно, мой дорогой Леон, и, конечно, верю, что однажды мы снова будем вместе.

Твоя Луиза

P.S. Прилагаю фотокарточку, которую я сделала когда-то по требованию моего начальника в фотоавтомате на Лионском вокзале за несколько минут до отъезда; нам нужен был запас паспортных фотографий штук в двадцать – для виз, продления пребывания и тому подобного. Обрати внимание на белую прядку на правом виске, я нахожу её очень привлекательной. Я очень хочу твою фотографию. Отправь мне, пожалуйста, одну в Медину, Французская Западная Африка; а вдруг почта каким-то чудом дойдёт. Ах, и пришли пару пачек сигарет «Турмак», если сможешь.

ГЛАВА 16

Однажды весенним днём 1941 года вдруг вернулась мадам Россето. Первый признак этого Леон заметил ещё с улицы, возвращаясь домой: медная дверная ручка, за последний год поблекшая и потускневшая, снова сияла золотом, как в мирное время. Мраморный пол в вестибюле был начищен до блеска, на стеклянной двери комнаты консьержки, весь год простоявшей ослепшей и чёрной, снова висела подсвеченная изнутри занавеска в цветочек, а из-за неё доносился стук посуды; к тому же снова пахло тушённым луком, или он это себе мысленно дорисовал?

Леон остановился и прислушался, потом решил пройти мимо и сделал несколько шагов к лестнице. Но когда его тень упала на стеклянную дверь, бренчание посуды прекратилось, а за дверью воцарилась та искусственная тишина, на которую человек способен, лишь будучи либо спящим, либо мёртвым, или когда очень сильно прислушивается. Леон усмехнулся при мысли, что двое взрослых людей затаив дыхание подслушивают друг друга, притом что каждый видит тень другого на дверном стекле. Чтобы покончить с этой нелепой ситуацией, он подошёл к двери и постучал. Тишина. Он постучал ещё раз и окликнул мадам Россето по имени; когда и после этого из комнаты не донеслось ни звука, он уже не сомневался, что это точно она – снова вернулась в свою дыру.

Что пришлось ей пережить за это время? Какие несчастья и ужасы, сколько страхов и бед она должна была перенести, чтобы переступить через себя, покорно вернуться на улицу Эколь и сдаться на милость жильцов, которых она год назад покинула с язвительной усмешкой.

Леон раздумывал, не поздравить ли женщину за закрытой дверью с возвращением, но решил, что она может принять это за издёвку, и он нарочито громко пошёл к лестнице. Он будет уважительно считаться с невидимостью мадам Россето столько, сколько ей понадобится; а в день, когда она покажется из своей норы, он мимоходом поздоровается и сделает вид, что ничего не произошло и она никогда не уезжала.

8 июня 1941 года на свет появился маленький Филипп. Когда в три часа ночи начались схватки, Леон поймал велосипедное такси, доехал с Ивонной до роддома на бульваре Порт-Руаяль и вернулся на этом же такси домой, чтобы стеречь сон детей и вовремя отправить их в школу. Остаток ночи он провёл в гостиной в кресле перед открытым окном; сначала он попытался читать, потом потушил свет и смотрел то наверх на

переполненное звёздами небо, то вниз на безлюдную улицу.

Один раз он услышал из детской тихий стон, вероятно, то была маленькая Мюрьель, которая после заточения в угольном подвале страдала от ночных кошмаров. Когда Леон открыл дверь, она уже вновь посапывала по-детски часто и невинно. Он подождал, пока глаза снова привыкнут к темноте, и по очереди осмотрел очертания своих детей под тонкими летними одеялами.

Восьмилетний Роберт и одиннадцатилетний Ив лежали в своей общей кровати у окна как можно дальше друг от друга, свесив руки и ноги по разные стороны. Маленькая Мюрьель спала посередине кроватки на спине, широко раскинув в стороны конечности, в безоружно-королевской позе, свойственной только маленьким детям и пьяным. Шестнадцатилетний Мишель больше не спал в детской комнате, а расположился наверху под крышей. В первый же тёплый день весны он переехал в пустую мансардную комнату, и для упрочнения своей независимости купил себе на блошином рынке на карманные деньги дорожный будильник. В ту ночь, когда их первенец впервые ночевал один, Ивонна плакала от боли разлуки, а Леон радовался тому, что Мишель купил будильник на блошином рынке, а не новый.

Впрочем, и у младших была привычка тащить домой старый хлам, который они находили на свалках и задних дворах: ржавые подковы, джутовые мешки с экзотическими печатными надписями, странные деревянные или металлические штуковины, которые когда-то были частью неведомо чего. Леон осматривал эти сокровища и вместе с детьми строил предположения об их изначальном предназначении, истории и владельце. Тогда как Ивонна, куда менее восприимчивая к прелести ненужных вещей, стояла наготове с жавелевой водой и тряпкой, и ждала возможности хотя бы очистить эти находки от микробов и других возбудителей болезней, раз уж они попали в квартиру.

Леон радовался тому, что дети были настоящими Лё Галлями. Конечно, у каждого были свои собственные, неповторимые черты, приобретённые с рождения; Роберт был светловолосым, Ив русым, а Мюрьель уже слегка брюнетка, один унаследовал миролюбивую флегматичность отца, второй – склонную к истерии проницательность матери, третья – дипломатичность, доселе неведомую в семье. Но плоский затылок был у всех троих, и все трое были дружелюбными бунтарями, и у всех троих уже с самого детства проявилась склонность к весёлой меланхолии.

Леон, глядя на спящих детей, припомнил своё личное заключение о бессмертии человеческой души, которое он скроил в результате опытных наблюдений, физического

фундаментального анализа и теории вероятности. Основой его положения был очевидный факт, что люди не были бездушными машинами, по крайней мере в том, что касалось его детей, он мог дать руку на отсечение, что они совершенно точно с самого рождения были наделены душой.

Отсюда Леон, основываясь на законе сохранения массы, выводил, что эта душа не могла сотворить сама себя из ничего. Это, в свою очередь, означало, что она как цельность уже существовала либо до рождения – а тогда, пожалуй, и до зачатия – либо создавала себя из прежде неживых частиц или энергий в ходе возникновения человека.

Из этих двух вариантов, как он в итоге решил, убедительным является только первый; второй вариант – что у миллионов людей, ежедневно рождающихся на свет, душа всякий раз спонтанно образуется из доселе мёртвых частиц или энергий – был по теории вероятностей так же неприемлем, как если бы чудо возникновения жизни из мёртвого вещества свершилось не один – единственный раз в начале всех времён, а ежедневно повторялось миллионократно повсюду в мире в каждой дождевой луже и в каждой сточной канаве.

Когда забрезжило утро, Леон испуганно вскочил со своего кресла. Он побежал в булочную и принёс хлеб, потом поставил воду для кофе. Около семи часов он разбудил детей и приготовил им одежду. Потом взбежал на три этажа выше в мансарду, чтобы разбудить Мишеля, который никогда не слышал свой будильник. Снова вернулся на кухню, заварил кофе через фильтр, поставил подогреть молоко и намазал бутерброды.

В этот момент на улице в утренней тишине раздался скрип велосипедных тормозов. Послышались приглушённые голоса, потом стук женских каблуков по тротуару. Леон подошёл к открытому окну гостиной и выглянул на улицу. У подъезда стояло велотакси, рядом Ивонна. С того момента, когда он передал её на попечение медсестре в роддоме, не прошло и четырёх часов. Он сбежал по лестнице, бросился к ней через вестибюль, взял у неё сумку и приподнял уголок пелёнки со свёртка, который она держала в руках, чтобы взглянуть на личико.

– Всё на месте?

– Всё на месте. Два восемьсот, затылок плоский.

– Кто это?

– Маленький Филипп.

– Филипп – в честь маршала?

– Да нет же, просто так.

– А сама ты как? Всё хорошо?

– Конечно. Всё прошло легко.

– Всё равно тебе следовало остаться в роддоме. Дня на три-четыре. Отдохнула бы.

– Зачем это?

– Мы бы справились.

– Так я вас и оставила на вымирание!

– Что бы я без тебя делал!

– А я без тебя.

– Ивонна…

– Да?

– Я люблю тебя.

– Я знаю. И я тебя тоже, Леон.

– Идём наверх, а то молоко сейчас убежит.

Это вышло так внезапно так неожиданно и нечаянно для обоих, ведь они уже многие годы не произносили этих слов; может, именно поэтому они и прозвучали этим утром так свежо и неизбито, и не было в них ни натужности, ни фальши. Он обнял её за талию, и она понесла своего мирно спящего ребёнка – испытание их терпения ещё на пару лет и десятилетий – вверх по лестнице.

В последующие дни он также ходил в лабораторию, где уже почти год был занят работой переписчика, стараясь не сойти от этого с ума. Каждое утро в половине девятого на его столе лежала стопка из сотни вспученных, разбухших, размытых картотечных карточек, содержание которых он должен был расшифровать и перенести на новые белоснежные карточки. В конце рабочего дня, когда большинство кабинетов на набережной Орфевр были уже пусты, ординарец хауптштурмфюрера Кнохена делал обход и собирал копии и оригиналы.

Однажды случилось так, что Леон успел сделать только семьдесят или восемьдесят копий, потому что ему пришлось проверять то ли миндальный торт на мышьяк, то ли бутылку Кампари на крысиный яд; и он оставил на столе двадцать – тридцать нескопированных карточек, к которым ординарец подложил ещё семьдесят или восемьдесят, чтобы к утру их снова было сто.

Памятуя о детях, Леон теперь старался допускать не слишком много ошибок при переписывании. Какое-то время он пытался устроить необъявленную, недоказуемую забастовку, корпея над каждой карточкой как можно дольше: сначала прописывал текст карандашом, а потом обводил чернилами, перенося обстоятельное ученическое чистописание на бумагу.

И хотя ему удалось таким образом понизить производительность до двадцати копий в день, от ученического

чистописания у него начались спазмы, а от медлительности ему стало скучно; через несколько дней утомительного безделья он снова дал себе волю и вернулся к естественному темпу работы.

Однако арабский мокко, который по приказу хауптштурмфюрера Кнохена ему доставляли со зловещим постоянством, Леон не пил; он убирал нераспечатанные чёрно-бело-красные упаковки по четверть кило в шкаф, где хранил и итальянскую кофеварку. Настольную лампу он поставил на подоконник у своего письменного стола, а после того, как хауптштурмфюрер не показывался целый месяц, совсем убрал её и вернул свою, нашедшуюся на чердаке, коптилку.

Но всё снова изменилось солнечным утром позднего лета, после ночного ливня. По пути на работу Леон пинал каштан по блестящей мостовой и смотрел наверх на уборщиц, которые в открытых окнах орудовали метёлками; на мосту Сен-Мишель он поднял последний каштан и, размахнувшись, швырнул его в Сену; а свернув на набережную Орфевр, он просто ради удовольствия пробежался пару метров.

Когда он пришел в лабораторию, то увидел на своём столе новую лампу Сименс, старая коптилка исчезла. Леон поискал во всех углах, вышел в коридор, посмотрел налево и направо, почесал затылок и наморщил лоб. Потом вернулся за свой письменный стол, взял верхнюю карточку из стопки и приступил к работе.

Его опасения подтвердились только к вечеру. Вернувшись из туалета, он застал в своём кресле хауптштурмфюрера Кнохена. Тот сидел, подперев лицо кулаками, и выглядел обессиленным и уставшим от забот.

– Что вы там стоите? Входите, Лё Галль, и закройте дверь.

– Добрый день, господин хауптштурмфюрер. Давно вас не видно.

– Оставим этот спектакль. Мне не до игр. Мы взрослые мужчины.

– Как пожелаете, хауптштурмфюрер.

– Штандартенфюрер, меня повысили в звании.

– Поздравляю.

– Я здесь, чтобы вас предостеречь, Лё Галль. Вы снова устраиваете саботаж, я этого так не оставлю. Берегитесь, я вас предупреждаю.

– Господин штандартенфюрер, я делаю всё, что…

– Оставьте эту болтовню. Разумеется, вы слишком трусливы для настоящего саботажа, вы лишь слегка играете в движение Сопротивления, от этого никому ни холодно, ни жарко. Вы хотите, чтобы ваша совесть была спокойна, поэтому специально

делаете ошибки, как школьник. Я бы на вашем месте постыдился.

– Господин штандартенфюрер, позвольте мне быть с вами откровенным.

– Пожалуйста.

– Я бы на вашем месте тоже постыдился.

– Ах да?

– Вы приходите и строите из себя сильного мужчину, зная, что за вами надёжное прикрытие танков и гранат.

– Но за мной и в самом деле танки и гранаты.

– Если бы вы были на моём месте, а я на вашем…

– Как знать, Лё Галль. Факт тот, что прошлой осенью, когда вы натерпелись страху за свою дочурку, норма допущенных вами ошибок снизилась до восьми процентов. И вот прошла пара месяцев, девчонка писается, видимо, лишь через раз, и вы опять за своё, позволяете себе уже четырнадцать процентов.

– Я не нарочно…

– Молчать! Хватит разглагольствовать. Это ещё не семьдесят три процента, но всё к тому идёт. Раз уж зашла речь: чем вам помешала эта лампа? Что она вам сделала?

– Лампа как лампа.

– Вам не нравится, что он от Сименса, так?

– У меня чувствительные глаза, яркий свет меня слепит. Старая лампа…

– Молчать! Лампа будет стоять где стоит. Это моё последнее предупреждение.

Кнохен вздохнул и закинул сапоги на стол.

– Господин штандартенфюрер, позвольте задать вам один вопрос.

– Что?

– Почему я?

– Что «почему вы»?

– Я единственный здесь, кого вы снабжаете новой лампой и кофе.

– Вы что, проводили опрос?

– Почему я, господин штандартенфюрер?

– Потому что вы единственный, кто делает эти глупости.

– На всей набережной Орфевр?

– Вы единственный из пятисот служащих, кто строит из себя героя. А сейчас сделайте мне кофе, я устал. Крепкий, если можно.

– Как вам будет угодно…

– Прямо сейчас.

– Через фильтр или мокко?

– Мокко. Оставьте меня в покое с вашими военными помоями. И возьмите кофеварку, а не этот вашу несчастную

фильтрашку.

– Да вот только…

– Что?

– Тот кофе Мокко, что мне доставляют по вашему приказу, не помолот.

– И что?

– Здесь нет кофемолки.

– Так воспользуйтесь ступкой, чёрт возьми! Такого-то добра у вас должно хватать, это же, в конце концов, лаборатория. И оставьте вы, наконец, ваши женские интрижки.

Штандартенфюрер наблюдал за тем, как Леон открыл шкаф. На верхней полке аккуратно в ряд стояли две или три дюжины круглых чёрно-бело-красных банок кофе. Штандартенфюрер вздохнул и покачал головой, потом сцепил руки на затылке и стал смотреть поверх своих сапог в окно.

Леон растолок горсть кофейных зёрен в ступе, залил воду в основание кофеварки, а кофе засыпал во вставную воронку, навинтил верхнюю часть кофеварки на нижнюю и поставил на горелку, открыл газ и чиркнул спичкой. Пока вода нагревалась, он приготовил блюдца, чашки и ложечки и поставил на стол сахарницу. Закончив со всем этим, ему больше ничего не оставалось делать, и он подошёл ко второму, дальнему окну и стал смотреть на Сену, которая равнодушно текла мимо острова Сите как и сто или сто тысяч лет назад. Иногда он чувствовал на себе взгляд Кнохена, а иногда и сам искоса наблюдал за штандартенфюрером. Прошла целая вечность, прежде чем кофеварка заклокотала через подъёмную трубку.

Когда Леон наливал кофе, Кнохен убрал сапоги со стола, подпёр подбородок правой рукой и разглядывал Леона. Потом сказал:

– Мне жаль вас, Лё Галль. Лучшие всегда непокорны, как показывает история даже на самый поверхностный взгляд. Именно непокорность отличает особенных от обычных, не так ли? Но, к сожалению, мы оба живём не в истории, а здесь и сейчас, и настоящее показывает: то, что в историческом плане, возможно, и представляется значимым, чаще всего, к сожалению, просто банально. Мы здесь не для того, чтобы делать историю, а для того, чтобы копировать эти проклятые карточки. И поэтому вы меня сейчас послушаетесь и больше не будете делать ошибок, и проклятая лампа останется на вашем письменном столе, именно на этом месте и ни на каком другом, и вы её не сдвинете даже на десять сантиметров, не испросив на то моего разрешения. Вы меня поняли?

– Да.

– Эта лампа от Сименса, Лё Галль, привыкните к этому. Она останется стоять именно на этом месте, и вы будете ею пользоваться. Вы будете каждый день включать её, приходя на работу, и выключать, возвращаясь домой. Понятно?

– Да.

– Хорошо. А сейчас садитесь и пейте со мной кофе.

– Как вам будет угодно.

– Так точно, мне так угодно. И ещё мне угодно, чтобы отныне вы пили мокко каждый день. Что вы имеете против мокко? Вам не нравится вкус?

– Вкус, конечно же, отменный.

– В ближайшее время, Лё Галль, вам придётся пить чертовски много мокко, чтобы наверстать невыпитое. К тому же бунтовать больше не имеет смысла, мы скоро закончим с переписыванием.

Двое мужчин молча допили кофе, потом Кнохен встал, слегка кивнул на прощанье и ушёл. Леон убрал чашки в раковину, поразмыслил немного и ту, из которой пил штандартенфюрер, выбросил в урну.

Три дня Леон думал, как ему избавиться от мокко. Итальянскую кофеварку и чашку он оставил немытыми возле горелки, чтобы в случае чего притвориться, что свой ежедневный мокко он уже выпил; на самом деле, он продолжал пить свои отдающие дровами военные помои.

Когда в следующий понедельник на его столе снова лежала очередная пачка кофе на неделю, он положил её в портфель и вечером отнёс домой.

– Что это? – спросила Ивонна.

– Немецкий мокко, я тебе про него рассказывал.

– Убери эту дрянь из дома.

– Ты не хочешь…

– Убери, я тебе говорю. Не хочу.

– И что мне, по-твоему, с этим делать?

– Иди на улицу дю Жур, за крытым рынком. Там есть постоялый двор «Бо нуар», спроси месьё Рено. Он отведёт тебя к одному шапочнику на улицу Вольтера, тот хорошо тебе заплатит за этот кофе.

– А что мне делать с деньгами?

– Нам они не нужны.

– Тогда я отнесу их в лабораторию.

– Распорядись ими по-умному.

– Мне уже кое-то пришло в голову.

– Ничего мне об этом не рассказывай. Никому ничего об этом не рассказывай. Лучше, если никто не будет об этом знать.

Леон получил за двести пятьдесят граммов кофе пачку

банкнот, которая приближалась к половине его месячной зарплаты. А поскольку он теперь каждый понедельник ехал на улицу Вольтер и, чтобы поскорее сократить запасы, накопленные в шкафу, брал собой сразу две пачки, ящик его стола, запираемый на ключ, быстро наполнялся деньгами.

Леон не считал их. Он с ними не играл, не связывал их пачками, не вёл учётных записей и никогда не проверял, всё ли на месте – он даже не смотрел на них. Только раз в неделю открывал выдвижной ящик, возвращаясь с улицы Вольтера. Он бросал туда новые купюры, снова закрывал ящик, а ключ открыто держал в бакелитовой подставке с карандашами и ластиком, поскольку на таком видном месте его точно никто не найдёт.

Долгое время Леон понятия не имел, что делать с этим богатством, которое штандартенфюрер Кнохен, так сказать, навязал ему с пистолетом у виска. Он лишь твёрдо знал, что не унизится до того, чтобы использовать это к собственной выгоде. Ему также было ясно, что необходимо найти способы, как распределить эти деньги между людьми, ведь на второй год войны на всей набережной Орфевр не осталось больше ни одного служащего, который не нуждался бы в добавке на то, чтобы купить на чёрном рынке кусок мяса, детские башмаки или бутылку красного вина.

Вопрос был, через какие каналы пустить эти деньги. Если он будет открыто ходить по кабинетам и лично раздавать их коллегам, слух дойдёт до Кнохена, и его посадят за воровство, скупку краденного, служебное неповиновение и попытку саботажа. А если он тайно будет рассовывать купюры по карманам пальто, почтовым ящикам и столам коллег, сознательные сотрудники отнесут деньги начальникам и потребуют расследовать, что за неизвестный пытается их подкупить.

Поэтому Леон отверг мысль о массовом распределении средств и стал рассматривать точечные меры. В следственном отделе служил писарем некто Хайнцер, чьё эльзасское адвокатское удостоверение с 1918 года больше не признавалось действительным. Он жил в сырой трёхкомнатной квартире за Бастилией с шестью детьми, туберкулёзной женой и сестрой-алкоголичкой по имени Ирмгард, которая ни слова не говорила по-французски и годами скрывалась у него без регистрации; при этом он посылал деньги старику отцу, который со своими пятью овцами и тремя курами всё ещё жил в той покосившейся усадебке между Озенбахом и Вассербургом, где их семья хозяйствовала два столетия.

Хайнцер ходил сгорбившись, волосы его, как перья, нависали

над ушами, а запах изо рта можно было почувствовать за несколько метров. Вдобавок все на набережной Орфевр звали его Бошем, немчурой, потому что он был высокий блондин и не мог избавиться от эльзасского акцента, и ещё у него был злой начальник по имени Лямуш, который любил при всех дёрнуть его за серый воротничок рубашки или ткнуть карандашом в прохудившийся рукав его пиджака. Но поскольку Бош всё это выносил с достоинством, как и язву желудка, кариозные зубы и свои стёртые межпозвоночные диски, те из секретарш, что почувствительнее, провожали его ободряющими взглядами; но ближе подходить к нему, как магнитом притягивающему несчастье, бедность и болезни, они всё-таки не хотели.

Вот за этим бедолагой однажды осенним вечером Леон прошёл до самого дома, чтобы узнать его адрес. На следующее утро он вышел на работу на полчаса раньше, чем обычно, достал пишущую машинку и вставил в неё лист бумаги. Сначала он напечатал помпезную «шапку» учреждения, в названии которого употреблялись слова: «министерство», «республика», «безопасность», а также «президент», «национальный» и «Франция». Потом он написал: «Единовременный платёж в размере невыплаченной надбавки на детей с февраля 1932 г. по октябрь 1941 г.», поставил астрономическую цифру и приложил купюры на заявленную сумму. Снабдив документ неразборчивой барочной подписью, он написал на конверте несуществующий адрес отправителя, чтобы непременное письмо благодарности Боша гарантированно не пришло в реально существующий орган власти и не спровоцировало лишних наморщенных лбов.

Он специально поехал в шестнадцатый округ, чтобы опустить там письмо в почтовый ящик, и после этого выждал несколько дней, запретив себе без надобности наведываться в секретариат следственного отдела; но после того, как спустя неделю на набережной Орфевр всё ещё не ходило слухов о сомнительном денежном подарке, он спустился на третий этаж посмотреть, как идут дела у Боша. Сев на скамью для ожидающих в коридоре, он для маскировки перелистывал досье, а когда появился Бош, Леон пошёл ему навстречу и мимоходом поздоровался, Бош ответил также мимоходом.

Леон, успокоившись, отметил, что хотя Хайнцер и не вызывал очевидного подозрения, но его самочувствие заметно улучшилось. Круги под глазами стали светло-голубыми, а не тёмно-зелёными как раньше, на нём был новый костюм и новые туфли, изо рта больше не пахло, и шёл он не сгорбившись, а с прямой осанкой, как молодой парень; когда Леон снова зашёл через пару дней, он ещё издали услышал, как тот смеётся,

обнажая челюсть, полную зубов – может, и не совсем настоящих, но сияющих белизной. А когда ещё спустя месяц Леон проходил мимо, Бош стоял в коридоре с молодой, курившей сигарету блондинкой, и держал её за руку, когда она давала ему закурить.

Воодушевлённый успехом, Леон снова достал свою пишущую машинку. Он отправил телефонистке из полиции нравов с отважно печальным взглядом возврат ошибочно уплаченных налогов, одному коллеге из фотолаборатории возмещение транспортных расходов за последние пять лет, мадам Россето получила дополнительное пособие вдовы за все последние годы и ещё кредит на образование для двух её полусирот, а своей тёте Симоне из Каена он отправил компенсацию за размещение военных беженцев в 1914–1918 годы. Официант из бистро на углу получил через министерство иностранных дел пожертвование от его малоизвестного дяди из Америки, а продавщица из киоска с площади Сен-Мишель получила обратную выплату ошибочно взысканной городской аренды.

Такой способ денежного распределения хотя и доставлял Леону радость, но отнимал очень много времени; к тому же у него постепенно закончились адресаты. Со временем он также начал считать несправедливым свой произвольный выбор. Почему только его любимцы должны извлекать выгоду из мокко-денег штандартенфюрера, а все остальные нет? Но так как Леон не знал, как можно сделать выбор справедливым и не основанным на произволе, то решил исключить любое волевое вмешательство и, идя на крайность, полностью положиться на случай.

После рабочего дня он сел на метро до Северного вокзала, свернул на улицу Мобёж и, не глядя на адрес, опустил в каждый доступный почтовый ящик по банкноте – кому в десять, кому в пятьдесят, но в основном в сто франков. Прибыв на улицу Лафайет, он двинулся в южном направлении через улицу Монматр и, по настроению переходя с одной стороны улицы на другую, сдобрил каждый почтовый ящик купюрой. Добравшись до крытого рынка Ле-Аль, он купил на оставшиеся деньги курицу для себя и семьи и пошёл с ней домой.

ГЛАВА 17

Затем наступил день, когда утром в начале рабочего дня на письменном столе Леона больше не лежало никаких карточек картотеки – ни старых, подмоченных, ни новых, незаполненных. Леон осмотрелся во всей лаборатории, потом сел и стал ждать. Ничего не дождавшись, он поставил воду для кофе и вышел в коридор – посмотреть и послушать. Когда вода закипела, он сварил себе кофе и налил чашку, сел с нею и продолжал ждать.

После кофе он снова вышел в коридор. Наискосок напротив дверь стояла открытой. Коллега сидел, далеко откинувшись на спинку стула и сомкнув руки на затылке. Леон вопросительно посмотрел на него. Коллега растянул рот в горизонтальной, безрадостной улыбке и сказал:

– Всё кончилось, Лё Галль. Прошло и миновало.

Леон кивнул, повернулся на каблуках и возвратился в лабораторию. К его собственному удивлению, он не испытывал облегчения, а только стыд. Ему было стыдно за себя самого и за всю Судебную полицию, которой больше не представится возможности отвергнуть позорную, навязанную ей, штрафную работу.

Внешне в повседневность Леона вернулось что-то вроде нормальности. Штандартенфюрер Кнохен и его адъютант больше не показывались, поставки кофе прекратились. Правда, ящик его стола по-прежнему был щедро наполнен банкнотами, однако необходимость в постоянном распределении денег прошла. Собственная работа лаборатории поступала лишь от случая к случаю. Пожалуй, умирать снова стало значительно больше людей, чем в непривычно мирное лето 1940 года, но большинство жертв обнаруживали не симптомы отравления, а умирали от огнестрельных ран.

Леон решил снова вернуться к своей прерванной полтора года назад диссертации о статистике парижских отравлений. Как бы то ни было, ему не следовало лишний раз раздражать Кнохена. И прежде чем самовольно сочинять запутанный манускрипт, надо бы испросить у него формального соизволения и продемонстрировать ему безобидность своего исследования. Леон стыдился своей предусмотрительной покорности, а ещё больше стыдился того, что не видел возможности быть менее покорным.

В начале февраля 1942 года в лаборатории Леона объявился Жюль Карон из бухгалтерии, которого ещё никогда не видели на четвёртом этаже. У него были рябые после оспы щёки, он носил

очки в черепаховой оправе, у него был короткий нос, а вместо рта узкая полоска. Леон был знаком с ним по редким встречам на лестничной клетке. Они всегда здоровались – коротко и по-деловому, как принято между сотрудниками из разных отделов, но никогда не останавливались перемолвиться словечком. И вот он стоял теперь перед письменным столом Леона и потирал себе переносицу, как школьник, которого вызвали к директору.

– Послушай, Лё Галль. Мы знаем друг друга уже давно.

– Да.

– Хотя и не очень хорошо.

– Верно.

– Ты там сейчас чем занимаешься?

– Анализирую статистику. Смертельные случаи из-за отравления с 1930 по 1940 годы.

– Ага. Я здесь работаю уже двенадцать лет. А ты?

– С сентября 1918. Скоро будет двадцать четыре года.

– Поздравляю.

– Ну, что ж.

– Время идёт.

– Да.

– Ничего, если я закрою дверь?

– Закрывай на здоровье.

У Леона ещё оставался кофе в кофейнике. Он налил две чашки.

– Тебя, наверное, удивило, что я зашёл, ведь мы толком-то и не знаем друг друга.

– Работа есть работа.

– Я здесь не по работе. Дело в том, как бы это сказать…

– Я слушаю.

– Я бы не пришёл, если бы у меня был хоть какой-то другой выход…

– Прошу тебя.

– Я здесь потому… пойми меня правильно. Люди говорят.

– Обо мне?

– Слышать приходится то и это.

– Что же именно?

– Ну, всякое. Послушай, Лё Галль, мне всё равно, чем ты занимаешься, я и знать не хочу. Короче: хочешь купить у меня лодку?

– Что-что?

– У меня есть лодка, недалеко отсюда. Ничего особенного, деревянный полубаркас. Три метра на семь двадцать с двухместной каютой и дизельным мотором – двенадцать лошадиных сил. Ей восемнадцать лет, но она в полном порядке.

Стоит в порту Арсенал. – Карон беспокойно огляделся. – Я могу здесь говорить, нас никто не слышит?

– Не беспокойся.

– Ты должен мне помочь, Лё Галль. Мне надо исчезнуть, в свободную зону. Прямо сегодня же вечером, самое позднее – завтра рано утром.

– Как так?

– Не спрашивай, получил предупреждение. Мне нужны деньги на себя и на семью. Если удастся, ещё и на родителей жены. Поможешь мне?

– Если смогу.

– Люди говорят, у тебя есть деньги.

– Кто говорит?

– Но это правда?

– Сколько тебе надо?

– Я продам тебе мой полубаркас.

– Мне не нужен твой полубаркас.

– А мне не нужны подачки.

– Сколько?

– Пять тысяч.

– А ты будешь молчать?

– Меня здесь больше никто не увидит, мой поезд уйдёт в половине третьего.

Леон взял ключ из бакелитовой чашки и открыл выдвижной ящик, отсчитал пять тысяч франков и добавил к ним ещё одну тысячу. Когда он двигал по столу эту пачку денег, Карон подвинул ему навстречу связку ключей:

– Лодка называется *Fleur de Miel*. Корпус светло-голубой, каюта белая, на окнах занавески в красную клетку.

– Мне не нужна твоя лодка.

– У неё дизельный мотор, дровяная печка и две койки.

– Мне она не нужна.

– И электрический свет. Возьми её в качестве залога и посмотри за ней, пока меня не будет.

– Убери ключи.

– Мотор запускай раз в две недели, иначе он застоится. Если я не вернусь через два или три года, тебе надо будет поднять посудину из воды и заново покрасить. Когда война кончится, я заберу её назад, а деньги верну.

– Забудь про деньги, – сказал Леон.

– Тогда ты забудь, что лодка когда-то принадлежала мне.

Карон встал, положил ключи на стол и поднял руку на прощанье.

Леон положил ключи к деньгам, запер выдвижной ящик и

снова склонился над своей статистикой. Но через пару недель он всё чаще стоял у окна и смотрел на баржи, которые теперь лишь изредка и по одной проплывали по Сене; если появлялся какой-нибудь катер, он присматривался к нему особенно внимательно. Он навёл в бухгалтерии справки о коллеге Кароне и узнал, что тот вместе со всей семьёй бесследно исчез.

Со временем он всё чаще думал о лодке с занавесками в красно-белую клеточку и начал беспокоиться за дизельный мотор. Он думал о ржавеющих кольцах выхлопной заслонки и корродирующих штекерах, крошащихся уплотнителях и заблокированных пружинах вентилей, и он думал о том, что чайки загадят лодку своим помётом, если никто не будет приглядывать за ней. Бродяги доберутся до каюты, а потом оставят дверь открытой, после чего ветер и непогода, а также мальчишки-школьники доведут дело разрушения до конца; иногда Леон думал и о Кароне, который где-то под солнцем юга тосковал сейчас о молочном парижском небе и надеялся, что Лё Галль позаботится о его *Fleur de Miel*.

В один робкий весенний день в конце третьей военной зимы Леон не пошёл в обеденный перерыв домой, а отправился через остров Сен-Луи и через мост Сюлли в порт Арсенал. Коричневая вода акватории порта курчавилась под весенним бризом. Три утеплённых на зиму прогулочных катерка были привязаны к своим причальным тумбам, две или три дюжины полубаркасов тихо покачивались на ветру; среди них было несколько зелёных, несколько красных, были и светло-голубые, и у многих занавески были в красно-белую клеточку – но *Fleur de Miel* назывался только один.

Леон остановился у парапета и стал разглядывать лодку. Она была загажена помётом чаек, в углах лежала прелая листва, а корпус под ватерлинией оброс мохнатой зеленью; но доски, казалось, были в порядке, швы хорошо законопачены, и слой краски был безупречен. Красно-белые клетчатые занавески были тщательно задёрнуты, и висячий замок на двери каюты оставался цел и невредим.

В то мгновение, когда Леон достал из кармана ключи, он почувствовал, что лодка перешла в его собственность. Наконец-то у него снова была лодка. Он почувствовал себя так же, как тогда в Шербурге, когда они с Патрисом и Жоэлем прятали в кустах свою развалину. Сколько лет прошло с тех пор – с четверть века? Леон удивлялся, что за все эти годы он так ни разу не испытал потребности в собственной лодке. Какой-нибудь Рено-Торпеду или мотоцикл он, бывало, хотел, деревенский дом на Луаре, часы «Брегет», бильярдный стол и зажигалку «Картье» – тоже, но лодку

– никогда. И вот она стояла перед ним.

Леон набрал в грудь побольше воздуха и широким шагом ступил на борт. В ту же секунду он понял, что никогда больше не отдаст эту лодку и ни с кем не будет её делить; он не будет принимать здесь незваных гостей, и вообще ни одной душе не расскажет о существовании этой лодки. Даже свою жену Ивонну, которая решительно не захотела иметь ничего общего с его кофейно-денежными историями, он не поставит в известность, и площадкой для детских игр эта лодка тоже не станет. Она принадлежала только ему одному и больше никому. Леон был в торжественном, приподнятом настроении, когда обходил лодку от носа до кормы. Висячий замок открылся с лёгким щелчком. Дверь слегка перекосило и зажало, но после решительного рывка она легко открылась и бесшумно повернулась на хорошо смазанных петлях. Внутри уютно пахло древесной золой, паркетной мастикой дощатого пола и трубочным табаком, а ещё, может быть, кофе и красным вином. В одном углу лежал опрокинутый игрушечный паровоз, в корзинке для рукоделия лежал клубок пряжи, пронизанный двумя спицами. Паровозик он отнесёт Филиппу, пряжу для вязания – мадам Россето. Между двумя иллюминаторами висела репродукция подсолнухов ван Гога, на полке стояли две или три дюжины книг. Леон сел в потрескавшееся кожаное кресло возле угольной печки и вытянул ноги, набил себе трубку и раскурил её. Потом он закрыл глаза и стал слушать плеск воды о борт, выпуская маленькие облачка дыма.

Медина, в затяжной дождь

июля 1943 года

Мой любимый, старый Леон,

ты ещё тут? Я ещё здесь, а куда же я денусь. Я снова тону в воде – вода сверху, вода снизу, вода спереди и сзади, вода сбоку. Вода бьёт фонтаном из дыр земли и капает со стен, она падает с неба, испаряется на горячей почве и возвращается назад в холодное небо, чтобы тотчас снова упасть вниз и пробарабанить терзающее нервы стаккато по жестяным кровлям, а там, где между низвергающимися потоками ещё остаётся пространство для воздуха, пригодного для дыхания, трепещет чад плесени и разложения, так что хоть ложись и помирай. Я не могу сделать ни шагу из дома, без того, чтобы тут же погрузиться по щиколотки и колени в грязь. Грязь продавливается между пальцами на ногах и забивается

под ногти, у меня на коже головы уже грибок и лишай, у меня уже галлюцинации с личинками и червями, а ступни у меня приобрели от красной грязи терракотовый оттенок, который я уже ничем не могу оттереть. В отчаянной попытке как-то защититься от вездесущей грязи я недавно достала мои красивые парижские сапожки из телячьей кожи, которые лежали в сундуке со дня моего прибытия, – и они оказались покрыты белой плесенью толщиной в палец. Пора уже возвращаться на прохладный север. А пока этого не произошло, я хожу босиком.

Тебе не хватит фантазии, чтобы представить, насколько нелепы здесь мои будни. Пусть у меня вши на голове, ногти крошатся, а все мои юбки по краю подола растрепались в бахрому, но я по-прежнему храбро изображаю машинистку. Каждое утро я выхожу из дома с моей портативной пишущей машинкой, а перед дверью меня уже ждёт мой персональный телохранитель с моим персональным зонтом, и я следую за тремя начальниками и их телохранителями, равно как и наш личный эскорт, состоящий из ещё двадцати бойцов.

Первым делом мы идём к наблюдательной вышке, которая стоит у железной дороги недалеко от нашей крепости. Один боец подставляет к башне лестницу, мой шеф взбирается наверх к входной двери, расположенной на трёхметровой высоте, и смотрит, цела ли ещё печать на двери. Тем временем другой боец ставит для меня раскладной столик и раскрывает над ним большой зонт, и когда мой шеф снова ступает на твёрдую почву, что значит: имеет под ногами тёплую грязь, я сажусь за свою машинку и печатаю протокол. В кустах таятся мокрые от дождя гиены и наблюдают за нами, развесив губы. Мокрые гиены – несказанно жалкое зрелище, должна тебе сказать. Даже в сухом состоянии гиена – символ несовершенства тварного мира, а уж мокрая! – просто разрывает сердце.

Как только я заканчиваю со своим протоколом, мы отправляемся к станции, где наш поезд, состоящий из локомотива и двух вагонов, уже стоит под парами, готовый к отправлению. Мы садимся в зарезервированный для нас вагон первого класса, бойцы жмутся в открытом вагоне для перевозки скота к крестьянам, которые каждое утро со своими овощами, просом, курами и козами едут за двенадцать километров

вниз по течению реки в Каес. Потом поезд трогается, и мы трясёмся – сперва через ручей, потом между парой холмов в ущелье, ведущее в долину Каес.

Наш вагон выглядит как поезд Микки Мауса, а локомотив, наверное, построен бойскаутами, и вообще железная дорога – узкоколейка, а узкоколейки – всё равно что мужчины с маленькими пенисами: их трудно воспринимать по-настоящему всерьёз. Можно тысячу раз напоминать самой себе, что дело не в длине и ширине, и что по-настоящему важные качества сантиметрами не измерить, – но всё равно всё упирается именно в это, уже из-за одного лишь вида. Некоторые вещи в большом формате попросту лучше выглядят, чем в миниатюре, ты не находишь?

Вокзал Каеса – кукольный домик с блестящими сигналами, аккуратными газонами и свободными от бурьяна посыпными пространствами. Крестьяне в вагоне для перевозки скота должны сидеть со своими курами и козами, таковы правила, пока мы не выйдем из своего вагона и не окажемся за загородкой. В тени навеса кишмя кишат люди. Голые ребятишки с раздутыми животами, женщины с мёртвыми глазами, боль которых неизгладимо впечатана на лица обрядовыми увечьями, и их мужья, которые глядят на нас с безнадёжным упрямством, сдавленной гордостью или по-собачьи виляющей хвостом покорностью.

Под их немыми взглядами мы переходим через улицу, где, словно мавританский сказочный замок из пыльной пустыни, возносится администрация Железных дорог Французского Судана, в подвалах которой мы разместили – я уже могу тебе это рассказать, теперь это действительно всё равно – восемьсот семьдесят тонн золота. Ещё двести тонн мы храним при таможенном управлении вниз по течению реки, сто двадцать тонн в подвале коменданта округа и восемьдесят тонн в пороховом погребе казарм. Повсюду мы контролируем сохранность печати, проверяем охрану и убеждаемся, что ничего из нашего бесполезного мягкого металла не украдено. Процессия длится два часа, потом мы садимся в обратный поезд до Медины.

Во время сухого полугодия мы каждые два месяца делали инвентаризацию, тогда нам на каждую точку требовался полный день. Первым делом удаляются печати и открываются двери, а затем бойцы вытаскивают

на свет божий все ящики и складывают их в пустыне рядами по десять штук, после чего мой шеф фиксирует наличие, поднимаясь на первый ящик, и перешагивает с одного на другой, громким голосом вещая: «Два центнера!» – Шаг. – «Четыре центнера!» – Шаг. – «Шесть центнеров!» – Шаг. – «Восемь центнеров!» …а машинистка сидит за своим складным столиком и ставит галочки, а в завершение печатает полноценный рапорт. Когда, наконец, обмерены шагами все ящики, по-прежнему снабжённые для маскировки надписью «Взрывоопасно!», они снова исчезают в подвале, двери заново опечатываются, а мы возвращаемся в офицерскую столовую, где расслабляемся после напряжённого рабочего дня.

Иногда в пустыню прилетает какой-нибудь лётчик и показывает бумажку, на которой написано, что он должен забрать два или три ящика. Тогда мы без долгих расспросов открываем какой-нибудь подвал. Раньше посыльные прибывали из Виши, а с некоторого времени – из Лондона. Некоторое время назад нам пришлось отдать золото Бельгии, чтобы усмирить немцев, а также польское золото. Интересно, кто же им его возместит, когда война закончится.

И вот идёт уже третий сезон дождей, который я провожу здесь, время проходит быстро. Ещё три месяца – и мир снова высохнет, и я смогу взять мой старый мужской велосипед, который я купила на рынке Каеса в позапрошлом году и который в сухое время года даёт мне иллюзию свободы. Тогда я езжу в окрестные деревни или проезжаю несколько километров вверх по течению реки к электростанции Фелу и иду наблюдать за животными на быстрине с братьями Бонвэн, которые здесь в монастырской уединённости несут свою инженерную службу и давно уже признали, что здешняя фауна бесконечно интереснее, чем их электростанция с её каналами, шлюзами и турбинами, которая, вообще-то, когда освоишь свои функции, ничего сложного собой не представляет. В моё последнее посещение я узнала от них, что знаменитый смех гиен есть не что иное, как ритуал выражения покорности низших по рангу особей; они тем самым выпрашивают долю добычи или добиваются приёма в стаю. Как видишь, смех – это оружие безвластных. Сильный не смеётся.

Кстати, я совсем поседела. Когда три года назад я

приехала сюда, у меня было несколько седых прядей, теперь осталось всего две-три тёмных. К тому же я похудела, ножки и грудь у меня теперь как у двенадцатилетней. Бегать и ездить на велосипеде я тоже могу как двенадцатилетняя, и – да – зубы ещё все целы, спасибо за вопрос.

Много ли ты писал мне за минувшее время, Леон – десять, сто раз? От тебя не дошло ни одного письма, и я ведь тебя предупреждала. Вообще сюда ничего ни разу не доходило. Мы больше не получаем зарплату и не получаем никаких указаний, никакого снабжения, никаких боеприпасов, ни газет, ни обмундирования. Время от времени к нам залетает, как я уже сказала, какой-нибудь лётчик и рассказывает путаную чушь, в которую невозможно по-настоящему поверить, а несколько месяцев назад комендант велел арестовать троих парней, которые появились ниоткуда, по-французски говорили из рук вон плохо, а кроме того, подозрительно интересовались нашей наблюдательной вышкой и оказались в итоге немцами; но во всём прочем мы одни – мир забыл про нас.

Мы в свою очередь тоже начинаем забывать мир. По прошествии некоторого времени привыкаешь к жаре и уже не тоскуешь по зиме. Начинаешь есть кускус так, как будто это картофельное пюре, а недавно ночью мне впервые приснился сон не по-французски, а на языке бамбара.

О войне мы не получаем никаких известий. Баобабы так и остаются баобабами, а тараканы тараканами; ружья начали ржаветь, потому что из них никто не стреляет, а стрелки умирают не в сражениях, а от тифа и малярии. Может, мы бы и вообще уже не знали, зачем мы здесь, если бы наш радист Галиани не смастерил из развалин нескольких электротехнических приборов коротковолновый радиоприёмник, который очень прилично ловит Би-Би-Си из Лондона.

Не забыла ли я и тебя? Ну, немного забыла – какой же смысл день за днём предаваться тоске. Тем не менее – и в этом ничего не изменишь – ты всегда со мной. Это странно: о моих родителях у меня остались лишь смутные воспоминания, я забыла даже имена друзей детства, но ты передо мной всегда как живой.

Когда ветер шумит в деревьях, я слышу твой голос, который нашёптывает мне на ухо что-то очень хорошее,

и когда носорог зевает в реке Сенегал, я вижу уголки твоего рта, которые всегда дружелюбно приподняты вверх, даже когда ты совсем не собираешься улыбаться; у неба синева твоих глаз, а сухая трава светла, как твои волосы – ну вот, я опять впадаю в лирику.

Любовь – это всё-таки самонадеянность, разве нет? Особенно если она длится уже четверть века. Хотелось бы мне знать, что это такое. Гормональная дисфункция с целью репродукции, как утверждают биологи? Душевное утешение для маленьких девочек, которым нельзя выйти замуж за их пап? Цель существования для неверующих? Может быть, всё вместе. Но и что-то большее, это я знаю.

Раз уж мы коснулись этой темы, я могу тебе сказать, что радист Галиани вот уже год, как говорится, мой любовник. Ты смеёшься? Я тоже. Это как в театре, правда? Если в первом акте появляется итальянец с усами, то в третьем акте он должен поцеловать юную героиню. Я, конечно, уже давно не юная героиня, да и Галиани плохо подходит для роли романтического сердцееда со своим наплевательством, громкими сентенциями, короткими конечностями и густыми чёрными волосами по всему телу, которые так и торчат наружу из его униформы.

Но одно его отличает: он не такой, как ты. Как раз потому, что он инфантильный полуфабрикат, который таращится на каждую женскую юбку, и именно потому, что он расточает гротескные комплименты, носит на шее толстую золотую цепь и постоянно клянётся могилой своей матери, хотя он даже не знает, где его мать похоронена, – вот именно поэтому он то, что надо. Он и должен быть не таким, как ты, понимаешь?

Это началось однажды вечером с год назад в курительной комнате офицерской столовой. У меня был тяжёлый приступ уныния, что случается время от времени с любым приличным человеком, и я скрывала его от остальных тем, что много шутила и особенно громко хохотала. Тут Джилиано Галиани встал и направился к комоду позади моего кресла, чтобы налить себе ещё один стакан нашего самодельного ячменного пива, и мимоходом, без всякого намерения и почти безотчётно, как мне показалось, положил мне руку на плечо из инстинктивного сочувствия. За это я была ему благодарна.

Когда в полночь всё уснуло, я пошла в его комнату и

без слов легла к нему в постель. Он ничего не сказал, ни о чём не спросил и подвинулся, как будто ждал меня уже давно или как будто он за много лет привык к тому, что я ложусь с ним. И потом взял меня, как это должен делать мужчина, без громких слов, но с наслаждением и уверенно, нежно и целеустремлённо.

Джилиано каждый раз уверенно и сильно ведёт нас к цели, и после этого не даёт мне никаких клятв и предложений, а отпускает меня на свободу, позволяя мне незаметно выскользнуть в мою комнату, а на следующий день не показывает вида и не напоминает о том, что произошло. Не подмигивает мне и не ходит за мной, не позволяет себе никаких вольностей и не принуждает меня к последующим посещениям, а напротив, ведёт себя по отношению ко мне в присутствии других подчёркнуто нейтрально, иногда даже отторгающе. Но когда потом через пару дней или недель я снова проскальзываю к нему под одеяло, он отодвигается, давая мне место, и принимает меня так, будто я никогда никуда и не уходила.

Он джентльмен в шкуре грубияна, это мне нравится. На противоположный сорт людей я насмотрелась досыта. Разумеется, между нами всё будет кончено, как только кончится война, поскольку при свете дня я его не выношу. Ночью он благоразумный, добросердечный мужчина, а днём – маленький ребёнок, с бесконтрольным словопотоком. Если он открывает рот, то начинает хвалиться грудью своей супруги, которая ждёт его где-то в Ницце, болтает о Милане и Ювентусе, а также о Бугатти, Феррари и Мазерати, а между делом ругается, что государство задолжало ему, чёрт побери, крест Почётного легиона и пожизненную пенсию и что на эти деньги он купит себе лодку на Ривьере и каждый день будет выезжать в море на рыбалку.

Не так уж долго осталось ждать, когда кончится война. Даже здесь, вдали, слышно про Сталинград, а с тех пор, как Союзники высадились в Марокко и Алжире, каждый сержант, каждый таможенник и каждый мелкий мошенник, который заходит к нам, изображает из себя Жана Мулена. Ещё несколько недель или месяцев, как говорит наш комендант, и мы потащим наши сундуки на станцию и поедем через Дакар и Марсель в Париж.

Что я сделаю, когда на Лионском вокзале выйду из поезда, я знаю точно: я поеду на такси на улицу Эколь и

позвоню в твою дверь. И если ты будешь дома, если ты и твоя жена, и твои дети все будут живы и здоровы, я войду и всех вас по очереди расцелую. Мы будем радоваться, что мы живы, а потом мы все пойдём гулять или, может, есть капустный суп. Всё остальное будет уже неважно, не правда ли?

Оставайся жив, Леон, будь счастлив и здоров, я нежно тебя целую. До скорого свидания!

Твоя Луиза

ГЛАВА 18

Теперь Леон проводил все свои обеденные перерывы в плавучем доме в порту Арсенал, иногда и часы от окончания рабочего дня до ужина. На обед он съедал в своей каюте сэндвич с ветчиной, потом на полчаса ложился на койку. Раньше он никогда этого не делал. В ранней юности он всегда наполнялся ужасом, когда отец после обеда опускался на диван, как будто умирая, и через секунду уже впадал в дрёму с открытым ртом и прикрытыми глазами. И вот теперь он сам дошёл до того, что ему стал необходим послеобеденный сон; он придавал ему сил, чтобы вернуться в бюро и терпеливо сносить повторяющиеся унижения, бессмысленные действия и ритуалы, которых требовала от него жизнь.

Fleur de Miel оставался его тайной, он никому не говорил о нём. Дома за него никто не тревожился. Ивонна была поглощена борьбой за выживание, и у неё больше не было ни сил, ни времени, да и воли, чтобы задаваться вопросами о смысле жизни, сердечных делах и подобных тонких материях. Разумеется, она давно знала о плавучем доме, поскольку обязана была знать об этом из соображений безопасности: не делает ли её муж в свои безнадзорные часы каких-нибудь глупостей, которые грозили бы семье неприятностями. Поскольку он этого не делал, ей была безразлична его лодка; она ожидала от Леона не больше, но и не меньше, чем вклад в пропитание и в защиту рода. За это она давала ему полную свободу, не требовала от него никаких чувств и сама не докучала ему таковыми.

Леон это ценил. Ещё несколько лет назад ему причинял страдание её суровый, до времени состарившийся облик, и он тосковал по той легконогой девушке, какой она была когда-то; иногда ему хотелось вернуть ту капризную диву, а временами даже измученную сомнениями в себе и в чувствах домохозяйку; но теперь он испытывал только благодарность и уважение к этой самоотверженно сражающейся львице, в которую Ивонна превратилась за годы войны. И требовать от неё, чтобы она ещё кокетливо распевала песенки или вызывающе поигрывала верхней пуговкой своей блузы, было бы в высшей степени нечестно.

Ивонне и Леону давно уже было ясно, что они были хорошей, сильной супружеской парой, которая выдержала не одну бурю и также могла подставить лоб и грядущим опасностям; их доверие друг к другу и взаимная симпатия были так глубоки и сильны, что они спокойно могли позволить друг другу идти своим путём.

Дети тоже не хотели знать, где Леон проводил свои одинокие часы. За исключением младшего Филиппа, все были уже довольно большие и занятые своими собственными битвами. От отца они ожидали только, чтобы он удерживал крепость и обеспечивал свой род деньгами и любовной заботой, а во всём прочем они были ему благодарны за то, что он был мягким, добродушным патриархом, который не задавал лишних вопросов и редко чего требовал.

Справедливости ради надо сказать, что Леон мог позволить себе отеческую мягкость только потому, что Ивонна со своей стороны вела тем более строгий надзор. Ни одной минуты дня не проходило так, чтоб она не знала, где находится каждый из её четверых детей, она требовала полного отчёта об их занятиях, состоянии здоровья и круге знакомств.

И когда очередной день, полный опасностей, был прожит без потерь, а дети крепко спали в своих постелях, у Ивонны так и не наступал конец рабочего дня: они с Леоном до глубокой ночи обговаривали все возможные опасности. Она говорила о фашистских педагогах и пьяных эсэсовцвх, о разгуливающих на воле извращенцах, о безумных автоводителях и высокозаразных микробах, равно как и о жаре, дожде и морозе, о растущих ценах на продукты и непредсказуемости чёрного рынка, и она неутомимо просчитывала возможные пути бегства через лес, по воздуху или водным путём или уход в катакомбы города на случай, если немцы всё-таки устроят здесь апокалипсис.

Ивонна была настолько переполнена своей миссией покровителя, что в ней больше не находилось места ни для чего другого. Она не поддерживала знакомства и больше не вела дневник сновидений, не носила розовые солнечные очки и не пела шлягеры; для Леона она была верной соратницей, но давно уже не женой, и даже для детей у неё от постоянных забот не находилось больше ласки.

Многолетние напряжения и усилия были теперь написаны у неё на лице. Веки остались без ресниц, щёки впали, а её длинная, когда-то элегантно изогнутая шея теперь была напряжена, и из неё выпирали жилы и артерии; у неё были широкие, угловатые плечи и больше не было груди, а живот втянуло под рёбра.

Встречаясь на лестнице с соседками, она их игнорировала и проходила мимо не здороваясь. Она больше не красилась, похудела и продолжала худеть, потому что забывала поесть. В прихожей она поставила два чемодана, приготовленных на случай внезапного бегства, в них было самое необходимое для всей семьи, и она по нескольку раз на дню проверяла, не забыла ли она чего туда положить. И только когда она перестала разуваться,

чтобы всегда быть наготове, в том числе и ложась ночью спать, Леон мягко призвал её к порядку и сказал, что в интересах детей надо всё-таки придерживаться какой-то формы.

Дети оценивали повседневные риски реалистичнее. Они знали, что, будучи крещёнными в христианстве детьми государственного служащего, не подпадали ни под какую схему военной добычи и что прочие опасности большого города в условиях оккупации были скорее меньше, чем в мирное время. Так каждый из них находил свой метод ускользнуть из-под опеки матери и предпринять первые шаги на своём собственном, предназначенном ему пути.

Моей тёте Мюриэль, которая умерла в 1987 году от цирроза печени, было тогда семь лет. У неё были веснушки и светло-зелёный бант в каштановых волосах, и она каждый свободный от школы вечер четверга, и воскресенья проводила преимущественно в закутке мадам Россето, которая часами качала девочку на коленях, потчевала сладостями и, закатив глаза, рассказывала ей жуткие любовные истории. Консьержка давала девочке ту нежность, которой она не получала от матери, а девочка, в свою очередь, утешала женщину в предательстве её дочерей, которые вот уже несколько лет не давали о себе знать. Незадолго до пяти часов мадам Россето неизменно шла к комоду и наливала себе маленький стаканчик яичного ликёра. А поскольку маленькая Мюриэль была таким милым ребёнком, она тоже получала свой напёрсток. Поначалу ей не особо нравилось, но скоро она научилась ценить его действие.

Мой дядя Роберт, которому впоследствии будет принадлежать бюро по трудоустройству в Лилле, оборудовал на чердаке крольчатник и проводил целые дни, добывая для своего быстро растущего хозяйства траву по всему Латинскому кварталу по обомшелым водостокам и по задним дворикам, мощённым булыжниками. Забивал кроликов он сам, его клиенты получали своё жаркое в виде, подготовленном для огня. Одного кролика в месяц он отдавал матери, остальных продавал на чёрном рынке. Ему суждено было погибнуть сентябрьским утром 1992 года за рулём своего «рено-16», когда на республиканской трассе между Шартром и Ле Маном он закурил сигарету, и его занесло на мокром после дождя дорожном покрытии.

Тринадцатилетний Ив, который впоследствии станет врачом, а ещё позднее повесит свою медицину на гвоздик ради теологии, к огорчению своих родителей добровольно примкнул к бойскаутскому движению Chantiers de la Jeunesse. Он получил чёрную униформу, армейские ботинки и белые гамаши, он учил речи маршала наизусть и неделями маршировал с рюкзаком, в

кепи и с туристским ножом по лесам Фонтенбло.

Девятнадцатилетний Мишель, который вошёл в историю Рено как изобретатель запорной крышки бензобака, ждал учебного места в техническом училище и убивал время, целыми днями слоняясь по городу в поисках побега из тюрьмы, которой он считал свою жизнь. К аутизму своего отца он питал невысказанное презрение, к беспринципной борьбе за выживание матери – тоже. Хотя он знал, что и сам не готов умереть за хорошее дело, но быть просто попутчиком он всё-таки не хотел. За несколько месяцев до экзаменов на аттестат зрелости он хотел бросить гимназию, потому что при записи на экзамены все девочки из его класса – действительно все до одной – выбрали в качестве первого иностранного языка не английский, а немецкий. Чтобы избежать этого шага, Леон раз в жизни прибег к своему отцовскому авторитету. Сперва он пытался внушить ему ценность классического образования и указывал на то, что хотя бы мальчики его класса как-никак записались на экзамен по английскому языку; но когда и эти аргументы не сработали, он просто подкупил его пятьюстами франками.

Рождённый на втором году войны Филипп – мой отец – ещё держался за материнский подол. Только по воскресеньям после обеда, когда Ивонна уходила поспать одна в затемнённую спальню и не допускала к себе детей, он шёл с Мюриэль к мадам Россето. Тогда он сидел на коленях у сестры, которая сидела на коленях у консьержки, и слушал её зловещие истории. И за то, что он был такой хороший мальчик и вёл себя так тихо и послушно, ему тоже можно было пригубить яичного ликёра мадам Россето. Он всю жизнь был благоразумный, но непригодный для жизни человек и оставался неверным другом женщин, которого поначалу его собственный шарм загнал в одиночество, а потом алкоголизм – в смерть.

Леон Лё Галль продолжал вести жизнь затворника. Он ходил на работу и выполнял свой долг как отец семейства, а во всём остальном он замкнулся в себе и в тайне своего плавучего дома. К счастью, выяснилось, что Жюль Карон имел пристрастие к русской литературе девятнадцатого века; на полках стояли Толстой и Тургенев, Достоевский и Лермонтов, а также Чехов, Гоголь и Гончаров. Леон читал их все подряд, при этом курил трубку и пил красное вино, которое его, впрочем, не опьяняло, а скорее приводило в приятное состояние метафизического уюта.

Он читал не торопясь и смотрел в окно на игру бликов на поверхности воды, на окраску платанов в смене времён года, на движение небесных светил, а также на ход дождя, солнечного света и тумана, которые были ему одинаково приятны. Каждый

вечер ровно в семь часов он настраивал радио, приникал ухом к динамику и вбирал в себя новости Би-Би-Си так, словно голос диктора был ценностью, которую ни в коем случае нельзя растранжирить. Так он узнал о Сталинграде и о высадке десанта в Анцио, об операции «Оверлорд» и о ночных бомбардировках в Гамбурге, Берлине и Дрездене.

Леон с ужасом замечал, что за тысячу дней оккупации ненависть росла в нём, как дерево; теперь она приносила свои плоды. Никогда и в страшном сне Леон не мог бы себе представить, что будет потирать руки при известии о пожаре в Шарлоттенбурге, никогда он не считал бы для себя возможным, что он вслух будет ликовать, радуясь гибели трёх тысяч женщин и детей за одну ночь; он с изумлением обнаружил, насколько горячо в нём желание, чтобы бомбовый град отныне не прекращался из ночи в ночь до тех пор, пока на всей земле не останется в живых ни одного немца.

Его ненависть помогала ему выживать, но затем произошёл один случай, который привёл его в замешательство. Однажды он стал свидетелем сцены, которая глубоко устыдила его, поскольку поколебала его ненависть. Однажды после обеда Леон в метро сидел напротив солдата Вермахта в форме и со штурмовой винтовкой. На станции Сен-Сюльпис в вагон вошёл молодой человек с жёлтой звездой на плаще. Солдат встал и безмолвным жестом предложил своё место еврею, который был приблизительно его возраста. Еврей помедлил, беспомощно огляделся, а потом без слов сел на освобождённое место и – должно быть, от стыда и безвыходного отчаяния – закрыл лицо руками. Солдат отвернулся от него и с каменной миной смотрел в окно, тогда как среди пассажиров воцарилась выжидательная тишина. Еврей сидел как раз напротив Леона, едва не касаясь его коленями. Ни еврей, ни вермахтовец не вышли ни на следующей, ни на послеследующей остановке, бесконечно длилась их общая поездка. И всё это время еврей не отрывал от лица ладони, а вермахтовец стоял перед ним в строгой армейской выправке. Поезд ехал и останавливался, ехал и останавливался. Потом, наконец, доехали до станции, на которой вермахтовец, повернувшись на каблуках, вышел на перрон. Когда дверь за ним закрылась, тишина в вагоне продолжалась. Никто не посмел сказать ни слова. Еврей по-прежнему закрывал лицо ладонями. Леону было видно, что на пальце у него обручальное кольцо и что уголки его глаз дрожали под указательными пальцами.

Лето 1944 года было тёплым и приятным, искупаться так и манило. Но пляжи Нормандии и Лазурный берег были недоступны из-за нашествия союзнических войск, поэтому жители

Парижа оставались дома и использовали для купания Сену. Четвёртое августа было к этому времени самым жарким днём года. На тротуаре плавился асфальт, лошади вешали головы, а люди держались, если им непременно нужно было выйти, в узкой полоске тени, которую дома бросали на тротуар.

Леон, как обычно, провёл часы после окончания рабочего дня в своём плавучем доме и теперь в вечерних сумерках шёл домой. Когда он проходил мимо входных ворот музея Клюни, в тени арки стоял мужчина, надвинув глубоко на лицо кепку с козырьком. Леон почуял опасность. Он ускорил шаг и посмотрел на противоположную сторону улицы.

– Штс-с-с! – окликнул мужчина.

Леон шёл дальше.

– Хороший вечер, не так ли?

Леон ступил на проезжую часть, чтобы свернуть на улицу Сорбонны.

– Эй, да постой же!

Леон не останавливался.

– Руки вверх, ни шагу дальше!

Леон остановился и поднял руки вверх.

Мужчина у него за спиной засмеялся:

– Расслабься, Леон. Я пошутил!

Леон, поколебавшись, опустил руки и обернулся, потом вернулся на тротуар и оглядел человека, который теперь стоял в свете уличного фонаря. У него было остро очерченное лицо и пронзительные глаза, и Леону показалось, что он откуда-то знает его.

– Извините, мы знакомы?

– Я принёс тебе назад твои четыреста франков.

– Четыреста франков?

– Восемьсот раз по пятьдесят сантимов, помнишь? Я хотел податься на автовокзал Жорес, и ты мне в этом помог.

– Мартэн?

– Что, не узнал меня? Так точно, я твой личный клошар, инкарнация твоей чистой совести.

– Сколько же лет прошло, года три?

– Мы тогда прикидывали, что война продлится года три-четыре, – почти не ошиблись, а?

– Ещё не прошла.

– Но уже виден конец. Для нас, по крайней мере. Пойдём, я немного провожу тебя.

Клошар выглядел лет на десять моложе, чем при их последней встрече; глаза у него были ясные, а кожа на крыльях носа чистая, от него уже не пахло красным вином, и весь

избыточный вес с него сошёл. Леон должен был признаться себе, что по сравнению с ним, он за это время заметно постарел; к тому же после нескольких часов в плавучем доме от него наверняка несло красным вином.

– Давно ты вернулся в город?

– Пару дней назад. Теперь уже недолго осталось, как ты знаешь.

– Я вообще ничего не знаю.

– Да знаешь, каждый ребёнок это знает. Американцы уже стоят в Руане, на Корсике тоже что-то зреет. Да и нас в городе пять тысяч человек.

– Кого это «нас»?

Мартэн достал из кармана кусок белой ткани и показал Леону. Это была нарукавная повязка, на которой были оттиснуты чёрные буквы FFL (Свободные Французские Силы).

– Наконец-то, – сказал Леон.

– Может, начнётся завтра, может, на следующей неделе.

– Если немцы перед этим не сделают то же, что в Варшаве.

– Мы за этим следим, – сказал Мартэн. – Но тебе, Леон, тоже есть чего остерегаться.

– Чего это?

– Скоро со всеми поквитаются. Кое-каким господам мы уши оттянем.

– И очень хорошо.

– Дело пойдёт быстро, и нам некогда будет особо разбираться. Будем раздавать оплеухи, и перед этим не станем рассусоливать и вести долгие разговоры.

– Понимаю.

– Я не уверен, понимаешь ли ты, – сказал Мартэн. – Ты действительно должен быть настороже. Ты на слуху, знаешь?

– Нет.

– Поговаривают о кофе, который ты получал в подарок от СС. Поговаривают о плавучем доме. За такие вещи в ближайшие дни будут наказывать, а время сейчас не то, чтобы делать тонкие различия. Наши люди в ярости, ты должен это понимать.

– Я тоже в ярости. И тебе ли не знать…

– Да, но другие этого не знают, а они не будут прислушиваться к педантизму и изощрённости. В дни, которые грядут, сначала будут наказывать, а только потом задавать вопросы. Поэтому тебе надо исчезнуть на пару недель. Прямо сейчас, немедленно, и до тех пор, пока всё не успокоится. Тогда сможешь вернуться и объяснить свои истории с кофе.

– Куда же мне податься?

– На юг! Сейчас лето, позволь своей семье отдохнуть пару

недель на море.

– На Лазурном берегу?

– Ну, не совсем там, в ближайшие дни там будет неспокойно. Я бы тебе посоветовал скорее юг Атлантического побережья, немцы оттуда уже ушли. Биарриц или Кап-Ферре или Лакано, это дело вкуса.

– И вопрос денег.

– Вот четыреста франков, которые ты мне тогда одолжил. – Мартэн протянул Леону пачку банкнот. – И вот это… – Он полез во внутренний карман и извлёк вторую, существенно более толстую пачку денег: – …это остатки денег из ящика в твоём бюро.

– Как же вы…

– Я велел их достать, когда ты был на своей лодке – надеюсь, тебе же так будет лучше. Это чтобы не возвращаться в бюро специально для этого.

– Но…

– Да бери. Это тебе официально передаёт FFL, отныне это больше не нацистские деньги. Ключ мы положили назад в бакелитовый стакан. Дурацкое, кстати, место для того, чтобы спрятать ключ, если мне позволено будет заметить.

– По крайней мере, до сих пор никто не додумался.

Мартэн улыбнулся:

– Мы эти деньги в последние два года постоянно пересчитывали. Твоё счастье, что ты ничего из них не взял для себя.

– Лодка…

– Я знаю, Карон мне всё рассказал. И это тоже твоё счастье, но всё же пока ты должен скрыться. Шесть тысяч ты назад не получишь, за них ты можешь оставить лодку себе. Карон говорит, он не хочет её назад, потому что она теперь твоя.

– Ах так?

– Он говорит, лодка – что собака, ей нельзя несколько раз менять хозяина.

– Спасибо.

– Вот тебе билеты на поезд в Бордо, а там сам посмотришь, куда вам ехать дальше. И вот два пропуска. Один для немцев, второй для наших людей. Смотри не перепутай.

– Понимаю.

– Возвращайтесь не раньше двадцать шестого сентября. Поезд на Бордо отправляется завтра утром в восемь двадцать семь. Поверь мне, Леон. Сделай, как я сказал. И именно завтра утром, никак не послезавтра. А теперь иди домой и укладывай чемодан!

С этими словами он перешёл через дорогу и исчез под

деревьями парка Клюни. Леон вспомнил, что в прошлый раз они на прощанье обнялись. Он спросил себя, почему сейчас они этого не сделали.

В тот день, когда в Париже работники городских больниц, служащие Банка Франции и служащие Судебной полиции примкнули к народному восстанию и начали забастовку, Леон Лё Галль в старомодных чёрных купальных трусах лежал в шестистах километрах юго-западнее набережной Орфевр в песках Лакано под красно-белым полосатым зонтом от солнца. Его жена Ивонна сидела рядом с ним с прямой, как свечка, спиной и наблюдала за своими четырьмя старшими детьми, тогда как младший Филипп строил песчаную крепость у неё в ногах.

Пляж тянулся на многие километры к северу и югу и был пуст, насколько хватало глаз. На самом верху дюн возвышались бункеры Атлантического вала, из амбразур которых мрачно грозили в сторону океана дула орудий, как будто солдаты Вермахта лишь ненадолго отлучились за боеприпасами и в любую минуту могли вернуться на свои посты.

По нескольку раз на дню Леон со своими детьми бродил по берегу вдоль кромки воды, чтобы посмотреть, чего там вынесло море. Раз они нашли кожаный мяч, раз исправную табуретку, раз прямой парус вместе с мачтой и такелажем. Из него они смастерили у подножия дюн тент от солнца.

Каждый день ровно в двенадцать Ивонна подавала сигнал собираться. Они накидывали лёгкую летнюю одежду поверх купальников и топали по дюнам назад, в сосновый лес и ехали на взятых напрокат велосипедах по узкой бетонной дороге, которую немцы проложили для своих мотоциклов, обедать в отель «Аист». Вздремнув после обеда, они возвращались на пляж, а вечером на деревенской площади играл аккордеонист и устраивались танцы. По средам был базарный день, а по субботам показывали кино под открытым небом на футбольной площадке.

Леон воспринимал как счастливую, но в то же время горькую иронию судьбы то, что он уже второй раз в жизни проводит последнюю фазу мировой войны на пляже. И хотя он был благодарен тому, что смог поместить свою семью в безопасность приватной идиллии, но день за днём он читал в газетах и слышал по радио, что в это же самое время другие мужчины отважно и жертвенно творили мировую историю. С самоистязающей ревностью Леон отмечал, что в те минуты, когда танковая колонна генерала Леклерка въезжала на площадь Этуаль, сам он сидел за завтраком и макал в кофе с молоком свой второй круассан; что в то мгновение, когда подразделение эсэсовцев расстреливало из автоматов тридцать пять подростков на

перекрёстке Каскад, сам он вычерпывал ложечкой порцию ванильного мороженого; или когда FFL впервые водружали триколор на Эйфелевой башне, сам он вырезал из куска плавника парусник для маленького Филиппа; или когда генерал фон Хольтиц вопреки приказу Гитлера разрушить город сдал его Леклерку без боя целым и невредимым, сам он как раз предавался послеобеденному сну; или в ту ночь, когда немецкие Люфтваффе совершали свой первый и последний налёт на Париж и разбомбили шестьсот домов, сам он сидел с Ивонной под звёздным небом на балконе своего номера в отеле, смотрел на мерцающий океан и пил бордо. А потом коньяк. А потом ещё один. А в завершение пиво.

Новость об отступлении Вермахта застала семейство Лё Галлей после обеда, в три с четвертью, под их самодельным тентом. С северной стороны по пляжу двигалась группа молодых людей; некоторые катились на велосипедах, а некоторые бежали с ними рядом, двое парней на тандеме тянули прицеп, в котором сидели три девушки. Молодые люди ликовали и махали руками. Мишель побежал им навстречу и заговорил с ними, потом вернулся под тент и обнял отца и своих братьев с сестрой. Маленький Филипп и Мюрьель настаивали на немедленном возвращении в Париж к мадам Россето и её яичному ликёру. Ив же, напротив, хотел оставаться в Лакано на неопределённое время, потому что начал разводить во дворе отеля кроликов. Леон и Мишель, обсудив возможность преждевременного возвращения в Париж, пришли к выводу, что пуститься в обратный путь раньше 26 сентября без действующего пропуска было бы рискованно.

В это время Ивонна стояла в сторонке, смотрела на океан и потирала свои худые плечи так, как будто мёрзла.

– Посмотрим, – сказала она. – Я поверю, только когда услышу по радио Де Голля.

– Так он же вчера говорил по радио.

– Я хочу услышать его из Парижа, чтобы было слышно, как звонят колокола Нотр-Дама. Если у него хватит ума, он сделает это.

– Де Голль не дурак, – сказал Леон. – Если ты требуешь такого доказательства, он тебе его предоставит.

– Ты думаешь, он так хорошо меня знает? Ну, посмотрим. – Ивонна повернулась и взяла своего мужа за локоть: – Знаешь, чего я сейчас хочу, Леон? Антрекот. Толстый, с кровью и перечным соусом, и с жареной картошкой. И запить глотком бордо, да хорошего бордо, а потом козьего сыра и рокфора. А на десерт крем-брюле.

На следующий день генералу Де Голлю действительно

хватило ума сопроводить своё радиообращение звоном колоколов Нотр-Дама; когда колокола и генерал смолкли, Ивонна побежала в кухню отеля и объявила повару, что немедленно хочет съесть мясо дикого кабана, а затем форель с ризотто и белыми грибами, а в качестве главного блюда – кровяную колбасу, а также картофель с молоком, маслом и сыром и красную капусту, а на десерт блины «сюзетт» и, ах, да, где-то в промежутке лимонное фруктовое мороженное с водкой. Когда повар дал ей понять, что, во-первых, сейчас половина четвёртого и поэтому, во-вторых, кухня закрыта, и что, в-третьих, ничего из упомянутого в запасе у них нет за исключением картофеля, то Ивонна легкомысленно возразила, что, во-первых, ему не стоит обращать внимание на часы, во-вторых, надо открыть кухню, а в третьих, закупить всё необходимое. Цена не играет роли.

С этого мгновения Ивонну интересовала только еда. Как только она открывала утром глаза, она хваталась за овсяное печенье, которое всегда держала в запасе. За завтраком она пила кофе с молоком целыми кружками, намазывала целиком полбагета толстым слоем сливочного масла и конфитюром. Кормление детей она, годами не имевшая никакого другого интереса, теперь полностью передоверила их отцу. И теперь, когда они отправлялись на пляж, она больше не думала об опасностях прибоя и течений, а равнодушно отпускала свой выводок, а сама совершала свою первую прогулку в кондитерскую, чтобы купить себе печенья «мадлен» и слоек с яблоками. После этого скоро наступало время аперитива и какой-нибудь закуски перед обедом.

Леон с удивлением смотрел, как его жена предаётся обжорству и превращается в существо, которое дремало в его жене двадцать два года и о возможности существования которого он никогда не подозревал. Равнодушие и холоднокровие рептилии, которое теперь проявляла Ивонна, стояли в огромном противоречии со всем, чем она была до сих пор. Этот заглатывающий, хрюкающий молох, должно быть, всё время поджидал в строгой хранительнице, которой Ивонна была во все военные годы; а эта хранительница, в свою очередь, таилась в непристойной диве, а та – в изможднной домохозяйке, которая, наконец, сидела в кокетливой невесте; Леон спрашивал себя, какими ещё метаморфозами огорошит его эта женщина в будущем.

Поскольку она всегда только ела и больше почти не двигалась, она очень быстро набрала вес. Выражение постоянной готовности к тревоге на её лице сменилось миной сытого довольства, иногда усталой досады. Дети взирали на неё с

пугливым удивлением и держались от неё ещё дальше, чем обычно. За каких-то несколько дней её шея разгладилась, а бёдра и плечи округлились, потом разбухли пальцы и налилась грудь. Её голубые глаза, которые постоянно были слегка насторожённо выпучены, теперь с каждым днём всё глубже утопали в жировой прослойке вокруг глазных впадин. Поскольку уже скоро её платья начали трещать по швам, она в конце первой недели сентября поехала на автобусе в Бордо и купила три летние юбки, удобные и просторные. И когда 25 сентября она укладывала чемоданы для возвращения домой, свои старые, тесные платья военного времени она оставила в шкафу, зная, что уже никогда в жизни не сможет их надеть.

ГЛАВА 19

В тот день 26 сентября 1944 года, когда Леон Лё Галль со своей семьёй вернулся на улицу Эколь, на реке Сенегал в очередной раз закончился сезон дождей – как будто кто-то завернул кран. Новость об освобождении Парижа со скоростью пожара распространилась по Французскому Судану, достигнув самых дальних уголков, и словно по мановению волшебной палочки, с одного дня на другой проснулись к новой жизни все важнейшие учреждения колониального мира. По железной дороге вновь пошли поезда, а по реке Сенегал – пароходы, и снова заработала телефонная связь, а почта стала разносить газеты.

Но спецпоезд, который должен был забрать Луизу Жанвье и золото, всё не приходил.

Поскольку в бумагах, оставшихся от моего деда, других писем от Луизы не нашлось, нельзя сказать, каково ей жилось в то время. Но можно предполагать, что она очень тосковала в ожидании этого поезда или хотя бы письма от Банка Франции. Возможно, она сидела на своём собранном чемодане. Вполне возможно, что она уже раздарила свои вещи – зонтик от солнца, револьвер и заменитель москитной сетки – в ожидании скорого отъезда. Могло быть также, что она однажды не сама обкорнала себе волосы, а специально в воскресенье поехала в Каес к парикмахеру. Далее можно представить себе, что она, когда просохла грязь и по дорогам снова стало возможно передвигаться, съездила на велосипеде на электростанцию Фелу попрощаться с братьями Бонвэн и, возможно, предприняла с ними последнюю, как им казалось, прогулку к водоёму ниже быстрины, в котором бегемоты выкармливали своих детёнышей. Может быть, и так, что на обратном пути она подарила свой велосипед тому молодому деревенскому учителю по имени Абдулла, который добился стопроцентного посещения школы среди семи – двенадцатилетних детей своей деревни.

И потом я думаю, что каждая ночь, которую она проводила в кровати Джилиано Галиани, воспринималась ею как последняя.

А спецпоезд всё не приезжал.

С тех пор, как радио и связь снова функционировали, Галиани в любое время дня и ночи гордо вышагивал по улицам, сообщая последние новости.. Он объявил о взятии Аахена Седьмой и Девятой армиями США и о поражении немецкого наступления в Арденны, а потом о бомбардировке гамбургских складов горючего и о капитуляции Венгрии, и чем дольше длилась его личная ссылка, тем чернее становились его

полуитальянские – полуфранцузские проклятия сукиному сыну маршалу Де Голлю и этим кретинам из Банка Франции, которые никак не почешутся забрать из этой задницы мира его и их сраное сучье золото. Может, Галиани ругался бы немного тише, если бы знал, что Де Голль и Банк Франции только потому гноили его в саванне, что в Средиземном море несколько прекрасно снаряжённых, заправленных горючим и вооружённых боеприпасами немецких подводных лодок только и ждали случая потопить на дно золото и Галиани.

В марте 1945 года закончилось сухое время года, снова стало жарко и сыро. Галиани достал свой зонт и топал с проклятиями по жидкой грязи, оповещая людей об освобождении Освенцима и разрушении Дрездена, воздевая руки к небу и вопрошая стервятников на сучьях, какого Иисус-Мария-чёрта его отсюда никто не забирает. Луиза сидела на своём чемодане и ждала. Галиани известил о Ялтинской конференции и о пожаре в бункере фюрера, о процессе против маршала Петэна и, наконец, об атомной бомбе, сброшенной на Нагасаки.

Но спецпоезд всё никак не приходил.

Потом минул ещё один год, и ещё раз дождь внезапно прекратился. Луиза давно уже снова сама отстригала себе волосы, которые в африканской жаре, кстати, отрастали гораздо быстрее, чем дома. Грязь высохла, затвердела и покрылась сетью чёрных трещин. Галиани убрал свой зонт под кровать, твёрдо зная, что в ближайшие полгода абсолютно точно с неба не упадёт ни одной капли дождя. Луиза в свободный от работы день съездила на поезде в Каес, чтобы купить на рынке новую москитную сетку и заменитель её старого мужского велосипеда. И потом, наконец, пришёл спецпоезд.

Может, он прибыл днём, а может, и ночью; но как только он прибыл, Луиза утром, встав с постели, могла увидеть его из своего окна, поскольку он, пыхтя и дымя, стоял совсем близко, перед упорным брусом. Сколько к нему было прицеплено товарных вагонов, осталось неизвестным, как и то, сколько понадобилось рейсов – один или несколько, – чтобы доставить золото в Дакар. Из анналов Банка Франции следует лишь, что в порту Дакара триста сорок шесть целых, пятьсот тридцать пять тысячных тонн золота было перегружено на Иль-дё-Клерон и что корабль вышел в море 30 сентября 1945 года. Если всё проходило гладко и атлантические осенние шторма не были слишком сильными, Иль-дё-Клерон должен был прийти в порт Тулона 12 октября.

Я представляю себе, как Луиза сошла по трапу на пирс и после пятилетнего отсутствия снова ступила на французскую

землю, загорелая до черноты и стройная, как юная девушка, только волосы были седые. Конечно, она расцеловала в щёки спутников этих пяти лет, радиста Галиани, которого за таможней ждала его жена, – может, чуть дольше, чем остальных. И поскольку у неё не было с собой багажа, а лишь ручная кладь, а остальным пришлось ждать свои чемоданы, она быстро ушла, зная, что ни одного из них никогда больше не увидит.

Может, дело было под вечер, когда она со своим чемоданчиком шла вверх по улице Анри Пастуро к вокзалу, и, может, она по дороге зашла в кондитерскую и купила свой первый за долгое время шоколадный эклер. Тогда она могла в половине девятого сесть в Марселе на вокзале Сен-Шарль в ночной поезд на Париж и на следующее утро незадолго до восьми часов оказаться в столице.

Не думаю, что, подъезжая к Лионскому вокзалу, Луиза нетерпеливо стояла у открытой двери вагона, подставив лицо встречному ветру. Не думаю, что она бегом пересекла здание вокзала, и не могу себе представить, чтоб она действительно, как она писала в своём последнем письме, бросилась в такси и прямиком поехала на улицу Эколь.

Скорее всего, я думаю, она оставалась спокойно сидеть в своём купе третьего класса, пока не вышли все пассажиры, и что потом – тихо и осторожно, чуть ли не робко – спустилась на перрон, в свете того ясного осеннего дня шаг за шагом прошла через зал и вышла на мостовую бульвара Дидро, который уже опять шумел и гудел от потока автобусов, машин и грузовиков, как будто войны никогда и не было.

Я представляю себе, что Луиза пересекла бульвар и пошла дальше прямиком по улице Лиона, подавленная непостижимой невредимостью обоих рядов домов – слева и справа; у Бастилии она села в уличном кафе, заказала кофе с молоком и круассан и взяла в руки газету – и тогда, может быть, она бросила беглый взгляд на плавучие дома в порту Арсенал, которые мирно покачивались на бризе.

Потом она побрела дальше по прохладному утру со своим чемоданчиком, как туристка, всё прямо по улицам Сен-Антуан и Риволи, и через некоторое время она очутилась, будто бы случайно, у головного офиса Банка Франции. Она поднялась по широкой лестнице к главному входу, бегло поздоровавшись, прошла мимо портье, который всё ещё или уже опять был усатый тип по фамилии Дарнье, и исчезла в полутьме длинного холла, как уже тысячи раз до этого, чтобы уведомить своё начальство о возвращении на службу.

И представляю себе, что на улицу Эколь она приехала лишь

через несколько дней. Думаю, что первым делом она поселилась в комнате отеля, которую банк снял ей на первое время, и что она сперва купила себе бельё и одежду, привела в порядок свои ногти и починила у зубного врача тот коренной зуб слева вверху, который у неё уже давно болел. Потом она сходила к парикмахеру, чтобы её постригли; но красить волосы она не стала, в этом я уверен.

Я представляю, что Луиза запланировала свой визит на улицу Эколь на позднее утро и что подъехала она туда на такси, поскольку своей машины у неё ещё не было. Я представляю себе, что внутри дома мадам Россето услышала, как снаружи хлопнула дверца автомобиля, и что она бросила взгляд в зеркало, которое через систему из двух других зеркал показывало ей то, что происходит перед входной дверью. Потом она тяжело поднялась из своего кресла рядом с угольной печью, чтобы исполнить свой долг домашнего дракона.

– Что вам угодно?

– К Лё Галлям, пожалуйста.

– По какому делу?

– Лё Галли ведь всё ещё живут здесь?

– По какому делу, простите?

– С целью личного посещения.

– Вас ожидают?

– К сожалению, нет.

– Как мне о вас доложить?

– Послушайте…

– Согласно правилам дома неизвестные без предварительной договорённости не имеют доступа в дом.

– Лё Галли ещё здесь?

– Мне очень жаль.

– Я только что вернулась из Африки.

– Из соображений безопасности я, к сожалению, не могу делать никаких исключений, вы должны это… Из Африки?

– Из Французского Судана.

– Так это вы…

– Какой этаж, пожалуйста?

Дверь квартиры стояла приоткрытой на ширину ладони.

Луиза позвонила.

– Кто там?

– Луиза.

– Кто?

– Луиза.

– КТО?

– ЛУИЗА ЖАНВЬЕ!

– МАЛЕНЬКАЯ ЛУИЗА?

– Она самая.

– Ничего себе.

– Да.

– Входите же. Прямо через прихожую, я в гостиной.

Луиза толкнула дверь и прикрыла её за собой, и через несколько шагов она стояла в гостиной, которую так часто разглядывала в бинокль. В кресле Леона для чтения сидела Ивонна – Луиза бы её не узнала, но это не мог быть никто другой. Ступни её были обуты в клетчатые домашние тапки, голени разбухли, на шее образовался плотный круговой валик жира, а волосы ниспадали на плечи прядями.

– Леона нет дома.

– Вы одна?

– Дети в школе.

– Это хорошо, – сказала Луиза. – Я ведь пришла к вам.

– Тогда садитесь. Так вот вы какая. Совсем как на фотографии, которую вы прислали из Африки.

– Волосы поседели.

– Время идёт. На фотографиях всегда выглядишь моложе, чем в реальности.

– Ничего не поделаешь.

– Вы не краситесь.

– Вы тоже.

– Уже давно больше не крашусь, – сказала Ивонна. – А в последнее время ещё и поправилась.

– Как вы себя чувствуете?

– Ах, знаете, я предпочитаю просто сидеть у окна на солнце, как домашняя кошка. Когда я устаю, то засыпаю, а когда проголодаюсь, то ем. Собственно, у меня постоянное чувство голода, и я постоянно устаю. Если только не сплю.

– Вы больше вообще не выходите из дома?

– Нет, если могу обойтись без этого. Мне пришлось столько бегать все эти годы, что теперь мне хочется только сидеть на солнце. Всё остальное мне безразлично. А как вы?

– А я со своей стороны уж насиделась на солнце за все эти последние годы…

– А я хочу есть. Мне так долго пришлось поститься, что теперь мне хочется насытиться как следует. У меня тут есть малиновый пирог и взбитые сливки, хотите?

Так две женщины сидели рядом на осеннем солнце и ели малиновый пирог. Ели они медленно и молчаливо, и передавали друг другу сахар, взбитые сливки и салфетки. Время от времени одна что-нибудь говорила, а другая слушала, а потом они снова

молчали и улыбались.

Луиза вызвалась пойти на кухню и сварить кофе, и Ивонна сказала, что это было бы замечательно. Тем временем она достала из шкафа кальвадос и два стаканчика и ещё раз отрезала по большому куску малинового пирога. На комоде протикали настольные часы. Время перевалило за одиннадцать. Через час дети должны были вернуться из школы. Женщины молчали, ели и пили.

– А Леон? – спросила под конец Луиза. – Как у него дела?

– Непростительно хорошо, – сказала Ивонна. – Вы увидите, он почти не изменился.

– За все эти годы?

– За все эти годы. Не знаю, меняются ли люди в жизни вообще, но эти мужчины из рода Лё Галль не меняются совершенно точно. Даже война их не затронула. Наш брат ведь имеет кое-какие признаки износа, а гарантия на оригинальные запчасти, пожалуй, истекла. А что Леон? Он несокрушим. Не ржавеет и неприхотлив в эксплуатации, я всегда говорю. Как сельскохозяйственная машина.

Луиза смеялась, и Ивонна смеялась вместе с ней.

– Волосы у него немного поредели, – продолжала Ивонна, – и ногти на ногах в последние годы стали такие рифлёные. Знаете, такие продольные канавки на ногтях, может, у других мужчин это тоже бывает?

– У большинства, начиная с определённого возраста, – сказала Луиза.

– И что, они утром, вставая, вздыхают?

– И это тоже.

– Раньше он никогда не вздыхал, а теперь вот…

– Он ещё смеётся?

– А вы считаете, что раньше он много смеялся?

– Не очень громко.

– Леон скорее улыбается.

– Главным образом сам с собой, когда думает, что его никто не видит.

– Вы должны его навестить, он обрадуется.

– Вы думаете?

– Непременно. Что ж теперь, после стольких лет.

– Когда мне прийти?

– Не сюда. Идите в порт Арсенал, там у него лодка. Она покрашена в синий и белый цвет и называется «Медовый Цветок». Этот мальчишка на своём катере вывесил флаг Нижней Нормандии. Два золотых льва на красном поле, ну, вы знаете. Вильгельм Завоеватель, никак не меньше. В любой момент готов

пересечь пролив Ла-Манш и завоевать Англию на своём дизельном катере.

ГЛАВА 20

В последующие годы Луиза и Леон очень, очень часто встречались в порту Арсенал. С понедельника по субботу они проводили вместе обеденные перерывы, а вечерами – часы с окончания рабочего дня до ужина. Лишь по воскресеньям они не виделись. Если шёл дождь, они оставались в каюте, а в остальное время сидели на деревянной скамье на корме или шли гулять по берегу канала. Она брала его под руку, он вдыхал запах её нагретых солнцем волос, и они болтали о том о сём..

Но лишь в конце третьей недели они впервые задёрнули занавески в своей каюте.

Когда в ноябре наступила зима, они стали топить железную печурку, варили кофе и жарили яичницу. Они купили граммофон и пластинки Эдит Пиаф, а позднее Жоржа Брассанса и Жака Бреля. Они подружились с другими владельцами лодок и окликали их по имени. Иногда приглашали их на аперитив. Если кто-то спрашивал, давно ли они женаты, они отвечали: скоро будет тридцать лет.

Но всегда, без исключения, каждый вечер ровно в четверть восьмого Луиза возвращалась к себе домой, в свою квартиру в Марэ, которую ей снял Банк Франции, а Леон отправлялся к себе на улицу Эколь, чтобы поужинать вместе с Ивонной и детьми; после этого он помогал младшим с домашним заданием, играл со старшими в карты и потом ложился спать рядом с Ивонной.

Продолжая жить таким образом, они ни от чего не отрекались, не вели двойную игру и не должны были секретничать; они лишь продолжали свою прежнюю жизнь единственно возможным образом, потому что новой жизни без старой не могло быть – ни для кого из них. Это они знали. И оттого, что в этом ничего нельзя было изменить, они не вели лишние споры и дебаты о том, что правильно и что неправильно.

То есть они молчали об этом. На улице Эколь никогда не упоминалось имя Луизы и никогда не говорилось о плавучем доме в порту Арсенал. Ивонна не хотела ничем портить своё кошачье довольство в её освещённом солнцем кресле и запрещала себе ненужно откровенные слова, которые привели бы лишь к недостойным драмам, фальшивым примирениям и притворным клятвам в верности. При этом она совсем не требовала поддержания ложной видимости, ибо она жила в мире с собой, с Леоном и с жизнью, которую вела. Она требовала лишь, чтобы её достоинство уважали, а от бестактности воздерживались.

О сохранении тайны так и так больше не могло быть и речи –

с тех пор, как мадам Россето умножила два на два, немного подержала нос по ветру, а затем почитала своим долгом держать всех соседей в курсе происходящего в семье Лё Галлей.

Даже дети всё знали; но поскольку и они осмотрительно молчали и изъяснялись в крайнем случае ироническими косыми взглядами или нечленораздельными намёками, Ивонна могла в своих четырёх стенах, которые она уже почти не покидала, и дальше жить в мире.

Потом наступило время, когда дети один за другим оставили родительский дом. Первенец Мишель, который из-за своего посредственного аттестата зрелости семестр за семестром тщетно ждал зачисления в Политехническую школу, весной 1947 года, когда заводы Рено открыли новое производство, занял должность помощника механика и снял меблированную комнату в Исси-ле-Мулино. Два года спустя его брат Ив двадцатилетним пошёл в армию и был направлен в Чад. В том же году умерла мадам Россето после короткого недомогания в больнице, и ей на смену на улицу Эколь пришли клининговая фирма и электрический домофон. Летом 1950 года с родителями распрощался и Роберт, чтобы в сельскохозяйственном училище в Бургундии изучать разведение крупного рогатого скота породы Шароле, и когда ещё два года спустя улицу Эколь покинула шестнадцатилетняя Мюриэль, чтобы в монастырской школе в Шартре получить диплом учительницы начальных классов, Ивонна и Леон остались одни с одиннадцатилетним, по-девичьи изящным Филиппом.

Ивонна не страдала от внезапно возникшего одиночества, а восприняла его как естественный ход вещей. Для себя самой она не хотела больше ничего, кроме солнечного света, обилия еды и неограниченного сна.

В середине пятидесятых годов она в течение нескольких месяцев принимала посещения одной свидетельницы Иеговы, чьи жуткие истории об испорченности мира и возмездии мстительного бога какое-то время доставляли ей удовольствие. Зимой 1958 года, когда и маленький Филипп поступил на военную службу, она распорядилась установить в гостиной телевизор. Больше всего ей нравилось смотреть бокс и автогонки.

Однажды утром в мае 1961 года она, наконец, заметила, когда проводила мочалкой по шее, небольшую твёрдую опухоль под правым ухом. Опухоль росла с каждым днём, потом такая же образовалась и под левым ухом.

– Может, само пройдёт, – сказала она, когда Леон хотел вызвать врача.

– Может, пройдёт, а может, и нет, – сказал Леон. – В любом случае пусть посмотрит врач.

– Нет, – сказала Ивонна.

– Нет, пусть.

– Нет.

– Это может быть опасно. Ты что, хочешь от этого умереть?

– Не так уж и хочу, – сказала Ивонна. – Но если Господь Бог захочет, чтобы я ушла, я уйду.

– Господу Богу всё равно, останешься ты или уйдёшь, глупая ты курица. У него без тебя полно забот.

– Ну и ладно.

– Зато мне не всё равно. И я тебе говорю: надо прооперироваться.

– Ты что, врач?

– У меня есть глаза. И мозги промеж ушей.

– У меня тоже, – сказала Ивонна. – И поэтому я тебе говорю, оставь меня в покое. Если я должна уйти, я уйду.

– Так вот просто?

– Совсем просто.

И опухоли на шее Ивонны продолжали расти и буквально сдавливали ей горло. Через несколько недель наступила ночь удушья, когда она лишь с трудом могла говорить. Она рассказала Леону о её проступке с Раулем почти тридцать лет назад, он обнял её и сказал, что всё это давно неважно. Потом она заснула или притворилась спящей, и Леон уснул рядом с ней.

* * *

В годовщину погребения Ивонны Луиза и Леон встретились в порту Арсенал рано утром, в семь часов. Был свежий, ясный день, солнце только что взошло над домами бульвара Бастилии. Луиза и Леон были одеты по-воскресному, хотя был вторник. Им обоим было по шестьдесят два года – здоровая, счастливая и красивая пара.

Луиза прихватила с собой сыр, хлеб и ветчину, Леон – воду, сидр и красное вино.

– Ты уверен, что наш ялик не пойдёт ко дну? – спросила Луиза.

– Совершенно уверен, – ответил Леон. – Я каждые два года чистил корпус и заново его красил, как мне завещал Карон. И мотор в полном порядке.

– Тогда выходим, наконец, пришло время.

Они поднялись на борт, погрузили припасы в каюту и завели мотор. Потом отвязали канаты, отчалили и вышли из акватории порта в Сену, а потом вверх по течению, навстречу океану.

notes

1

Quai des Orfèvres *(франц.)* или Набережная ювелиров, на этой набережной расположен комиссариат парижской полиции.

2

Knochen – кость; elender Knochen – мерзавец *(нем.)*